

**даниэль  
бенсаид  
большевизм  
и 21 век**



**свободное марксистское издательство  
2009**

Составление: Кирилл Медведев

Перевод: Андрий Репа, Дмитрий Колесник, Л. Михайлова, Кирилл Медведев, Дмитрий Потемкин.

Редактура: Кирилл Медведев, Андрий Репа, Влад Софронов

Перевод текста «Крот и локомотив» сделан по публикации <http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1117>, текста «Коротко о Бенсаиде» - по публикации <http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article1413>, а текста «Тезисы сопротивления» - по публикации [www.internationalviewpoint.org/article.php3?id\\_article=14](http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=14).

Все три текста впервые опубликованы на сайте

**<http://vpered.org.ru/>**

Перевод текста «В защиту коммунизма» сделан по изданию International Viewpoint, 1999, №3. и впервые опубликован в журнале «Альтернативы», 1999, - январь. - С.20-31.

Перевод текста «Большевизм и сталинизм» сделан по публикации <http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article1258>, текста «Скачки, скачки, скачки!» - по изданию "International Socialism" n° 95, July 2002. (сетевой вариант - <http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj95/bensaid.htm>), а текста «О книге Дж. Холлоуэя» по изданию "Historical Materialism", volume 13:4, 2005. (сетевой вариант <http://internationalviewpoint.org/spip.php?article1081>).

Все три текста впервые опубликованы на сайте

**<http://contr.info>**

Страница Свободного марксистского издательства

**[www.pasolini.ru/fmp.html](http://www.pasolini.ru/fmp.html)**

ISBN 978-5-98063-019-5

## КРОТ И ЛОКОМОТИВ

*Ты славно роешь, старый крот! Годишься в рудокопы.*

Шекспир, Гамлет, 1,5.

Наш старый дружок подслеповат. К тому же болен гемофилией. Дважды немощен, дважды уязвим. Однако терпеливо и настойчиво он продолжает своё бодрое кротовье продвижение через ходы и отверствия - к следующему прорыву.

19-ое столетие ощутило историю как стрелу, направленную в сторону прогресса. Античный Рок и божественное Провидение пали ниц перед будничной деятельностью современных человеческих существ, производивших и воспроизводивших условия собственного немыслимого существования.

Это обостренное чувство исторического развития вышло из долгой, медленной секуляризации. Небесные чудеса растворились в земных эксцессах. Будущее уже не нуждалось в освещении прошлым, настоящее же оправдывалось будущим. События перестали казаться чудесными. Прежде они казались священными, теперь стали мирскими.

Благодаря железной дороге, пароходу, телеграфу возникло ощущение, что история ускоряется, а расстояния становятся короче, человечество будто бы набрало скорости, достаточной для освобождения. Наступила эпоха революций.

Революция транспорта и туризма: за какие-то четверть века, между 1850-м и 1875-м возникли гигантские железнодорожные компании, агентство Рейтер и агентство Кук. Благодаря ротационной печатной машине во много раз подскочили тиражи. Стало возможно объехать весь мир за семьдесят дней. Путешественник, герой современности, возвестил кондиционированную экзотику туроператоров.

Революция в материалах: с триумфом железных дорог наступило царство угля, стекла и стали, хрустальных дворцов и металлических соборов. Скоростной транспорт, архитектурные трансформации, здравоохранительная инженерия изменили лицо города и перенесли городские отношения в пригороды.

Революция знания: теория эволюции и развитие геологии изменили место человека в естественной истории. Первый шепот экологии изменил скромный метаболический обмен между обществом и окружающей средой. Термодинамика открыла новые перспективы в контроле над энергией. Расцвет статистики снабдил вычислительный разум инструментом для определения количества и измерения.

Революция в производстве: «эпоха капитала» увидела бешеную циркулирующую вкладов и товаров, их ускоренный круговорот, гигант-

ские мировые выставки, массовое производство и начало массового потребления в связи с открытием первых универмагов.

Время бурления на биржах, спекуляций недвижимостью, быстро обретенных и так же быстро потерянных состояний, скандалов, афер, обвалных банкротств, время Перейр, Саккардов, Ротшильдов и Букико. Эра империй и колониальных разделов, армий, кромсающих страны и континенты.

Революция в трудовых практиках и социальных отношениях: механизированная промышленность вытесняет цех. Современный пролетариат заводов и городов приходит на смену классу ремесленников – портных, столяров, сапожников, ткачей. С 1851 по 1873 год рост капиталистической глобализации породил новое рабочее движение, завоевавшее дурную славу в 1864, после создания Международной ассоциации рабочих.

Эта четверть века, полная чудес, увидела также индустриализацию военной промышленности, в которой брезжила будущая «индустрия смерти» и всеобщая война. Эпоха социального преступления, «которое не похоже на убийство, потому что никто не видит убийцу, потому что убийца это все и никто, потому что смерть жертвы носит характер естественной смерти... Тем не менее это остается убийством» [1]. Где-то между Эдгаром Аланом По и Артуром Конан Дойлем зарождается детективный жанр, развитие рациональных методов дознания и научное усовершенствование методов расследования формируют сознание того времени с его урбанистическими «тайнами»: краденое переходит из рук в руки, любой след виновного теряется в безличной толпе.

Железная дорога стала лучшим символом и эмблемой этой технологической и делаческой лихорадки. Отправленные на завоевание будущего по путям прогресса, эти революции казались ревущими локомотивами истории!

Последняя четверть двадцатого столетия вызывает ряд аналогий с третьей четвертью девятнадцатого, хотя и в совершенно ином масштабе. Телекоммуникации, спутники и интернет – современные аналоги телеграфа и железной дороги. Новые источники энергии, биотехнологии и изменения в рабочих практиках в свою очередь революционизируют производство. Техники промышленного производства превращают потребление в массовый феномен. Развитие кредитования и массового маркетинга облегчают циркуляцию капитала. Результат – новая золотая лихорадка (в компьютерной области), сцепление высших эшелонов государства с финансовыми элитами, жесточайшая спекуляция и все ее спутники – мафиозные скандалы и ошеломляющие банкротства.

Новая эра капиталистической глобализации – товаризация планеты и фетишизм в мировом масштабе. Время сейсмического ниспровержения национальных и международных границ, время новых сил имперского господства, вооруженных до звезд. И всё же мечты этой сумеречной эпохи – уже не мечты о бесконечном прогрессе и великих исторических обещаниях. Обреченное на движение по кругу в колесе фортуны, наше социальное воображение выходит из истории и –

вспомним кино от Кубрика до Спилберга - устремляется в космос. Тяжесть поражений и катастроф измельчает любое событие в пыль мелких новостных сообщений, молниеносных звуковых байтов, эфемерной моды и мимолетных анекдотов.

Этот упадочный мир, безутешно опустошенный обманчивой религиозностью, благодаря коммерциализированной духовности, индивидуализму без индивидуальности, стандартизации различий и форматированию мнений, уже не наслаждается «великолепными восходами» или победоносными закатами. Будто бы катастрофы и разочарования минувшего столетия вытянули из него какое-либо чувство истории, отняли возможность переживать событие, а оставили только миражи распыленного настоящего.

Этот закат будущего угрожает традиции, охваченной сегодня конформистским празднеством воспоминаний. В этом восприятии прошлое, отмечает Поль Рикер в книге «Память, история, забвение» уже не ставит перед человеком задачу, а, скорее, образует «благочестие памяти», благоговейное воспоминание и стандартное понятие о благоразумии [2]. Этот фетишизм памяти якобы ускользает из эры коллективной амнезии к моментальным снимкам вечного настоящего.

Критическая память, отстраненная от какой-либо творческой перспективы, обращается к изношенным ритуалам. Она теряет «неизменное осознание всего того, что ещё не произошло» [3]. Потому постмодерный лабиринт не знает о «темном перекрестке», на который «мертвые возвращаются, принося новые известия». История уже не «подвигается к статусу легенды», уже не кажется «освященной внутренним светом», содержащимся в «богатстве свидетелей, предвкусывающих Революцию и Апокалипсис» [4]. Она рассеивается в пыль образов, разбросанными кусочками паззла, которые уже не соединить.

Поезд прогресса сошел с рельс. В саге о железной дороге злоешие скотовозы превзошли железную лошадь. Уже Вальтер Беньямин видел революцию не как гонку, которую выигрывает непобедимая машина, а как сигнал тревоги, вспыхивающий, чтобы, наоборот, прервать безумную гонку, ведущую к катастрофе.

Это означало - как тростник долговечнее дуба, так крот берет верх над локомотивом. Наш старый дружок, хоть и выглядит усталым, всё еще роет. Закат события не положил конец тайной работе сопротивления, которая тихонько, когда все вроде бы погружено в сон, готовит путь для новых восстаний. Так же, как викторианским «ростом без развития» был порождён Первый Интернационал, так же, как скрытая внутри общества война прорвалась в восстании коммунаров, так же новые противоречия назревают в великих перестановках современности.

В сиюминутных маргинальных заговорах и интригах, какими бы изолированными они не казались, также зреют великие будущие восстания. Именно в них зарождаются вести о новых бунтах. В них происходит то «тяжело дающееся продвижение», о котором говорит Эрнст Блох, - «странствие, блуждание, полное трагического раздо-

ра, кипения, изрытое трещинами, взрывами, изолированными свиданиями» [5]. Это упрямое продвижение вперед, состоящее из непримиримых актов сопротивления, хорошо продуманных блужданий по тоннелям, которые, казалось бы, ведут в никуда, но на самом деле выводят на дневной - ошеломляющий, слепящий свет.

Так подпольные ереси флагеллантов, апостоликов и прочих бегинок вымостили путь людям вроде Томаса Мюнцера (1490-1525), который вышел на арену со своей «апокалиптической пропагандой, призывающей к действию», перед тем, как его казнь скрепила печатью долгий альянс между «реформированным» священником и сельским помещиком. После эгалитарного восстания левеллеров огромный страх классов-собственников цементировал пуританский священный союз между буржуазией и аристократией Англии. После творческого подъема Французской революции наступил Термидор - период реставрации. После великих надежд Октябрьской революции наступило время бюрократической реакции, с процессами и чистками, фальсификациями и подлогами, дезорганизующей ложью.

Термидор всегда запирает двери возможностей, если они были хоть немного открыты. Однако, его «скучный мир с миром» так и не добрался до упрямого крота, всегда восстающего из собственных поражений. Через какие-то несколько лет якобинский радикализм снова заявляет о себе и о проблемах новой эпохи в движении луддитов, а потом в чартистском движении английского рабочего класса [6]. Меньше чем через 20 лет после кровавого разгрома Коммуны и высылки всех, кто выжил, социалистическое движение зарождается снова, как будто нетленное послание распространяется от поколения к поколению по длинной цепочке конспиративного шепота.

Проигранные или преданные революции не так-то просто стереть из памяти угнетенных. Они длятся в скрытых формах неповиновения, в призрачных появлениях, в агрессивных уходах, в молекулярном строении низового публичного пространства, с её сетями и паролями, вечерними свиданиями и гремющей канонадой. «Может показаться, - предупреждал мудрый наблюдатель после краха чартизма, - что кругом мир, кругом неподвижность; но именно в тишине прорастает зерно, а республиканцы и социалисты внедряют свои идеи в умы человеческие» [7]

Когда покорность и меланхолия сменяют экстаз события, так же как любовное возбуждение унимает сила привычки, ключевая задача - «не приноровиться к моментам утомления». Мы ни в коем случае не должны недооценивать власть - ни власть того обыденного утомления, которое усыпляет справедливого, ни власть колоссальной исторической усталости тех, кто слишком долго «чесал историю против шерсти». Такой была усталость Моисея, когда он остановился на пороге Ханаана, чтобы «заснуть сном земли». Усталость Сен-Жюста, замурованного в тишине собственной последней ночи. Усталость Бланки, его заигрывания с безумием в тюрьме Торо.

Такая же тяжкая усталость навалилась в августе 1917-го на молодого публициста из Перу Хосе Карлоса Мариатеки: «Мы просыпа-

емся больными от монотонности и тоски. И мы переживаем бесконечную изоляцию, не слыша эхо хоть какого-нибудь события, способного оживить наши умы и зарядить пишущие машинки. Апатия овладевает вещами и душами. Ничего не остается, кроме зевания, подавленности и утомления. Мы живем во времена подпольных шептаний и вороватых шуток» [8]. Через несколько месяцев этот алчный хроникер событий возрождения нашел их в старом мире Европы, потом в агониях войны и революции.

В реакционные времена упорный прогресс становится «долгим, медленным движением, терпеливым, но полным нетерпения», медленное непокорное нетерпение, не желающее мириться с порядком, который тогда царил в Берлине, и который скоро обрушится на Барселону, Джакарту или Сантьяго: «Порядок царит в Берлине!» – торжественно возвещает буржуазная пресса, возвещают Эберт и Носке, возвещают офицеры «победоносных войск», которым берлинская мелкобуржуазная чернь на улицах машет платками и с ликованием орет «ура». ...Как не вспомнить тут о победном угаре своры «порядка» в Париже, о вакханалии буржуазии на трупах борцов Коммуны? «Порядок царит в Варшаве!», «Порядок царит в Париже!», «Порядок царит в Берлине!» – так летят сообщения хранителей «порядка» каждые полвека из одного центра всемирно-исторической борьбы в другой» [9].

Потом приходит время не временного снижения скорости, а «неизбежного революционного замедления», развития и созревания, неотложного терпения как антипода усталости и привычки; упорных попыток идти вперед не привыкая и не вживаясь в ситуацию, не врасставая в рутину, постоянно ошеломляя себя самого в поисках того самого «желанного неизвестного» [10], которое вечно ускользает.

«В какой момент времени правда может вернуться в жизнь? И почему она должна вернуться в жизнь?» – вопрошал Бенжамен Фондан в самом сердце тьмы [11]. Когда? Этого никто не знает. Ясно только, что правда остается «в зазоре между легальным и нелегальным».

Для кого? Нет ни установленных наследников, ни прямых потомков, есть лишь наследие в поиске своих авторов, в ожидании тех, кто сможет понести его дальше. Наследие завещано тем, кто, как говорил Э.П. Томпсон, сможет сохранить побежденное от «огромной высокомерности потомства». Потому что «наследство это не собственность, не ценность, которую можно получить и положить в банк». Это «активное, избирательное утверждение, которое порой может быть реанимировано и заново утверждено, причем чаще незаконными наследниками, чем законными».

Событие «всегда на ходу», но «должны быть дни грома и молнии», если порочный круг фетишизма и господства предполагается нарушить. Наутро после поражения запросто может обуять чувство, что все и всегда нужно начинать с нуля или что все застыло в «вечном настоящем». Когда вселенная, кажется, повторяет себя без конца, топчется на месте, «глава перемен», тем не менее, остаётся открытой для надежды. Даже готовые смириться с тем, что больше

ничего не возможно, даже не видящие способа убежать от неотступного порядка вещей, мы упорно противопоставляем возможность будущего нищете настоящего. Ибо «любому не просто перенести позор отказа от желания быть свободным» [12].

После двадцати лет либеральной контрреформы и реставрации, порядок, основанный на рынке, кажется неизбежным. Кажется, что вечное настоящее уже не имеет никакого будущего, а абсолютный капитализм – ничего внеположного себе самому. Мы привержены будничному управлению этим фаталистическим порядком, сведённому к бесконечной фрагментации идентичностей и сообществ, обреченных на отказ от каких-либо программ и планов. Коварная риторика смирения используется слева, справа и по центру для оправдания захватывающих поворотов и позорных провалов, раскаяний и сожалений [13].

И всё же! Радикальная критика существующего порядка всегда крепнет, борясь с приливом, вдохновляясь новым осмыслением сопротивления и событий. Затянутые в порочную спираль поражений обороняющиеся сопротивления иногда перестают надеяться на контратаку, до которой так далеко; тогда надежда на освобождающее событие уходит из ежедневных актов сопротивления, из профанной становится сакральной и костенеет в ожидании невозможного чуда. Когда настоящее тянется без прошлого и без будущего, а «дух покидает данную эпоху, он оставляет в мире коллективное бешенство и духовно заряженное безумие» [14].

Когда желание изменить мир сбивается с тропы земного сопротивления порядку вещей, оно рискует обернуться в акт веры и волю небес. Потом приходит тоскливая процессия сладкоречивых торговцев снадобьями и шарлатанов, огнеглотателей и карманных воришек, головорезов, старьевщиков и гадалок, визионеров Нового века и полуверующих.

Именно это произошло после 1848 года, когда современники революции, герои «Воспитания чувств», повернулись к коммерции или обратились к своим карьерам. Так произошло и после 1905-го, когда разочарованные борцы стали «богоискателями». Это произошло после мая 1968, когда некоторым малодушным пророкам, наигравшимся в монстров, взбрело в голову играть в ангелов. В таких ситуациях религиозные ренессансы и кичевая мифология призваны заполнить пустоту, оставленную крахом великих надежд.

Противостоя отречением и бесконечным оправданиям этих отречений, адепты политики сопротивления и события не прекращают искать разумные объяснения любому провалу разума. Но отделение верности событию, лишенной исторического объяснения, от сопротивления, лишенного горизонта ожидания, несет на себе двойной груз бессилия.

В каком-то смысле, формы сопротивления могут быть бесконечно разнообразны: от конкретной критики существующей реальности до абстрактной утопии, лишенной исторических корней, от активного мессианства до созерцательного ожидания Мессии, который никогда не приходит, от этической политики до деполитизированной этики,



от пророчеств, стремящихся предотвратить опасность, до предсказаний, якобы раскрывающих секреты будущего.

Что касается событий, чьи политические условия кажутся уклончивыми и компромиссными, все же очень соблазнительно воспринимать их, как моменты чистой случайности, не имеющей отношения к необходимости, или как к чудесному вторжению подавленных возможностей.

Во времена термидора, как всем известно, затвердевают сердца и слабеют желудки. В таких обстоятельствах многие не могут противопоставить представлению о том, что наверняка всё будет только ещё хуже, ничего, кроме воли к смирению с меньшим злом из предлагаемых; когда это происходит, «дряблые изверги» [*les monstres mous*] [15] поздравляют друг друга, подмигивают и хлопают друг дружку по спине. Потом отбывающий Тартюф (старый Тартюф, классический Тартюф, церковный Тартюф) берет за руку «второго Тартюфа, Тартюфа современного мира, поношенного Тартюфа, во всем другого Тартюфа» [16]. Альянс двух «кузенов Тартюфов» может длиться очень долго, и они будут «нести друг друга, биться друг с другом, поддерживать друг друга, кормить друг друга».

Почитание победителей и побед идёт рука об руку с жалостью к жертвам, пока последние привязаны к своей роли жертв страдающих, пока их не искушает идея стать актёрами в своей собственной версии истории.

Между тем, даже в самых мертвых пустынях и в самых иссушенных местах всегда есть ручей – пусть даже маленькая струя – возвещающая нежданные восстания. Опять же, нужно различать бунтарское мессианство, которое не сдастся, и униженный миллениаризм, который смотрит взамен на великое «по ту сторону». Мы должны всегда разделять побежденных и сломленных, «победоносные поражения» и болезненные распады. Не нужно путать утешение утопией с формами сопротивления, продолжающими «незаконную традицию» и передающими «тайное убеждение».

Что-то всегда начинается, приходят моменты возрождения или обновления. В темные времена перемен и трансформаций светские и духовные устремления, доводы и страсти соединяются во взрывоопасную смесь. Попытки обезопасить старое сливаются с первыми трепыханиями новизны. Даже в самые мрачные моменты деградирующая традиция не отстоит слишком далеко от традиции восходящей. Не бывает конца у тайной композиции непрерывной поэмы «вероятных невозможностей».

Эту настойчивую надежду не следует путать с щегольской уверенностью верующего, а также с «печальной страстью», выведенной Спинозой. Наоборот, она выживает как добродетель «преодоленного отчаяния». Ибо «чтобы быть готовым поместить надежду в то, что не способно солгать», ты должен сначала отчаяться в своих собственных иллюзиях. Лишенная иллюзий надежда становится «главной, диаметральной противоположностью привычке и расслаблению». Такая надежда вынуждена постоянно «ломать привычку», постоянно демон-

тировать «привычные механизмы» и начинать новые процессы повсюду, «так же, как привычка повсюду несет конец и гибель» [17].

Порвать с привычкой означает вновь обрести возможность ошеломлять себя. Позволить себе удивляться.

Эти несвоевременные вторжения, во время которых случайность событий прокладывает путь через недостаточные, но необходимые исторические условия, пробивают брешь в неизменном порядке структур и вещей.

Кризис? А какой у нас сегодня кризис? Исторический кризис, кризис цивилизации, долгий, еле тянувшийся, затянувшийся кризис. Наш кое-как скроенный мир трещит по швам. Как предсказывал Герберт Уэллс, трещина между нашей культурой и нашими изобретениями не перестала расти, и в самом средоточии технологии и знания открывается беспокоящий разрыв между отдельными проявлениями рациональности и глобальной иррациональностью, между политическим разумом и технологическим безумием.

Зарождаются ли в этом кризисе семена новой цивилизации? Возможно, но он в той же степени чреват невиданным варварством. Что победит? Варварство уже довольно давно перехватило инициативу. Чем дальше, тем сложнее отделить разрушение от созидания, смертельную агонию старого от родовых судорог нового, «потому что варварство никогда прежде не имело в своем распоряжении таких чудных средств для эксплуатации разочарований и надежд человечества, сомневающегося в себе и в своем будущем» [18]. Мы нащупываем путь в этих смутных сумерках, где-то между закатом и рассветом.

Быть может, это просто кризис развития? Вряд ли это разочарование цивилизации в себе самой, но, может быть, это скорбь, порождающая «мифы, которые повергают землю в дрожь своими огромными стопами»? Если новой цивилизации суждено победить, не следует целиком забывать, отбрасывать или высмеивать старую. Её нужно не просто отстаивать, её нужно бесконечно переизобретать.

Упрямый старый крот переживет лихой локомотив. Его пушистые округлости сильнее металлического холода машины, его старательное добродушие сильнее ритмичного стука колёс, его терпеливая улыбка сильнее хихиканья стали. Он появляется и исчезает, среди кратеров и тоннелей, среди борозд и обрывов, среди подземной тьмы и в солнечном свете, между политикой и историей. Он роет свою нору. Он подкапывает и подрывает. Он готовит грядущий кризис.

Крот – светский Мессия.

Мессия – крот, полуслепой упрямец.

Кризис – кротовий холмик, внезапно взрывающийся изнутри.

\*\*\*\*\*

«Люди становятся чревоушателями, когда перестают быть пророками» (Шатобриан)

Франсуа Фюре заканчивает «Прошлое одной иллюзии» печальным вердиктом: «Лишившийся Бога, демократический индивид увидел с тоской, как в конце века зашаталось на своем пьедестале божество истории: эту тоску ему еще предстоит заклать». К смутному предчувствию опасности добавляется «страх перед неуверенностью... по поводу того, что будущее закрыто» и «вот мы осуждены жить в мире, в котором живём» [19]. Капитал будто становится перманентным горизонтом на все оставшееся время.

Не будет «после» и не будет «вовне».

Вот и истории конец.

Конец истории.

Жили долго и несчастливо.

Но нет: всегда приходит конфликт и противоречие, ропот всегда проходит по цивилизации и кризис преодолевает культуру. Всегда есть те, кто не идут в услужение и сопротивляются несправедливости.

От Сиэтла к Ницце, от Мийо к Порту-Алегри, от Бангкока к Праге, от организации безработных к выступлениям женщин – так формируется странная геополитика, и мы не знаем, какие события повлечет она за собой.

Старый крот продолжает рыть.

Гегель обращает наше внимание на эту «тихую и тайную» революцию, которая всегда предшествует развитию нового образа мышления. В безрассудных зигзагах истории крот роет своими коварными коготками собственный ход Разума. Крот не спешит. У него «нет нужды торопиться». Ему нужны «долгие периоды времени», и у него «времени вдоволь». Если крот отступает, то не для того, чтобы зазимовать, а чтобы протиснуться в другой лаз. Извиваясь и маневрируя, он ищет, где можно выбраться на поверхность. Крот никогда не исчезает, он может только уйти на глубину.

Негри и Хардт говорят, что метафора крота – фигура модерни, якобы преодоленная постмодернистской эрой. «Признаться, мы полагаем, что старый крот Маркса раз и навсегда умер»: его разветвленные ходы сменяются «бесконечными изгибами змеи» и прочей борьбой пресмыкающихся [20]. Но в таком вердикте есть налёт той хронологической иллюзии, согласно которой постмодерн якобы следует за модерном, сданным в музей древней истории. Между тем, крот двойственен. Он современный и постсовременный. Он копошится в своих «подземных ризомах», чтобы с грохотом выбраться через сделанные им кратеры.

Под предлогом отказа от метанарратива истории, философский дискурс постмодерни отдал себя мистикам и мистагогам: когда в обществе исчезают пророки, оно обращается к чревоушам. Именно это происходит в периоды реакции и реставрации. После битв июня 1848 и 18 брюмера молодого Наполеона социалистическое движение было также охвачено «христологией». «Взгляните на это потомство Вольтера, – писал один бывший коммунарь, – все, кто раньше бичевал церковь, теперь расселись кучкой вокруг стола, сцепив руки в священном единении, и часами ждут пока Церковь поднимет одну из своих ножиц. Религия во всех формах снова стала

порядком будней, и в ней теперь обнаружилось столько «великолепия». Франция сошла с ума!» [21]

Пьер Бурдые был прав, когда отделял мистическое утверждение или прорицание от условной, превентивной и перформативной позы пророчества. «Так же, как священник – неотъемлемая часть обычного порядка вещей, пророк – человек кризиса, ситуаций, в которых установленный порядок рушится, и будущее как целое ставится под вопрос» [22].

Пророк это не священник. И не святой.

Тем более не гадатель.

Чтобы не допустить беды, не достаточно сопротивляться ради сопротивления, недостаточно уповать на спасительное событие. Мы должны одновременно стремиться понять логику истории и быть готовыми к сюрпризу события. Мы должны быть открыты случайности такого сюрприза, не теряя при этом логическую нить истории. В этом и состоит вызов политического действия. Ибо история течет не в вакууме, и, когда дела меняются к лучшему, это ни в коем случае не происходит в некой пустой временной протяженности, это всегда происходит в «бесконечно заполненное время, время, насыщенное борьбой» [23].

И событиями.

Крот готовит им путь. С размеренным нетерпением. С неотложным терпением.

Ибо крот – пророческий зверёк.

---

[1] Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. – М., 1955. – С. 330.

[2] См.: Рикер П. Память, история, забвение. – М.: Изд-во гуманитар. лит-ры, 2004.

[3] Ernst Bloch, Thomas Münzer (Paris: UGE, 1975).

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] См.: Edward P. Thompson, *The Making of the English Working Class* [1963] (London: Gollancz, 1980).

[7] Henry Mayhew, *London Labour and the London Poor: A Cyclopaedia of the Condition and Earnings of Those That Will Work, Those That Cannot Work, and Those That Will Not Work*, 4 vols. [1861-62] (New York: Kelley, 1967).

[8] José Carlos Mariátegui, in *El Tiempo* (Lima) 16 Aug. 1917.

[9] Люксембург Р. «Порядок царит в Берлине» (этот текст был написан Розой Люксембург 14 января 1919 г., за несколько дней до ее убийства отрядом фрайкора под руководством социал-демократического министра внутренних дел Г. Носке).

[10] Dionys Mascolo, *Le Communisme* (Paris: Gallimard, 1953).

[11] Benjamin Fondane, *L'Écrivain devant la révolution* (Paris: Paris-Méditerranée, 1997).

[12] Ibid.

- [13] Jacques Derrida, Marc Guillaume, Jean-Pierre Vincent, *Marx en jeu* (Paris: Descartes et Cie, 1997).
- [14] См.: Сюрра М. Портрет интеллектуала в облике домашней зверушки. - В кн.: Республика Словесности. Франция в мировой интеллектуальной культуре. - М.: НЛО, 2005. - С. 374-388. См. также: Сюрра М. Деньги: Крушение политики. - СПб.: «Наука», 2001.
- [15] Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. - М.: «Юрист», 1994. Цит. по: Е.Р. Thompson, *The Making of the English Working Class* 419.
- [16] Charles Péguy, *Clio* (Paris: Gallimard, 1931), p. 99.
- [17] Charles Péguy, *Note conjointe* (Paris: Gallimard, 1942), p. 123.
- [18] Georges Bernanos, *La Liberté pour quoi faire?* [1953] (Paris: Gallimard, 1995).
- [19] Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. - М.: Ad Marginem, 1998. - С. 558.
- [20] Негри А., Хардт М. Империя. - М.: Праксис, 2004. - С. 66.
- [21] Gustave LeFranchais, *Souvenirs d'un révolutionnaire* (Paris: La Tête de Feuille, 1971), p. 191.
- [22] Pierre Bourdieu, "Genèse et structure du champ religieux", *Revue Française de Sociologie* 12 (1971), p. 331.
- [23] См.: Гегель, *Философия истории* // Сочинения. Т. 8.

## **В ЗАЩИТУ КОММУНИЗМА**

### **Вступление**

Иммануил Кант, отзываясь о Французской революции в 1798 году, когда реакция была в разгаре, писал, что такому событию, невзирая на его недостатки и слабости, суждено остаться в памяти людей. И прежде всего потому, уточнял он, что столь серьезное нарушение хода истории позволило хоть на мгновение блеснуть лучу истинной свободы.

Кант был прав. Сегодня наша задача выяснить, суждено ли большим ожиданиям, ассоциировавшимся с Октябрьской Революцией – тем событием, которое потрясло весь мир, тем лучом надежды посреди мрака и бойни Первой мировой войны – суждено ли им также «остаться в памяти народов». Вот каковы ставки в исследовании вопроса и борьбе вокруг него в нашей коллективной исторической памяти.

Восьмидесятая годовщина Октябрьской Революции 1917 года прошла практически незамеченной. Впрочем, выпуск «Черной книги коммунизма» привлек некоторое внимание к «Делу об Октябре» – одному из тех процессов, которые не могут получить финального разрешения.

Главная движущая и объединяющая сила, стоящая за авторами отдельных статей – Стефан Куртуа – совершенно ясно заявляет, что целью всего предприятия было доказать, будто сталинизм полностью соответствует коммунизму, будто Сталин – прямой наследник Ленина, и между первоначальным революционным пламенем и ледяными сумерками ГУЛАГа не было никакого зазора. «Сталинизм и коммунизм – одно и то же», – пишет он в номере «Журналь дю Диманш» за 9 ноября.

Существенно поэтому дать прямой ответ на вопрос, поставленный известным советским историком Михаилом Гефтером, который писал: «Предстоит решить следующую задачу: действительно ли ход истории был непрерывно-последовательным, либо мы имеем дело с двумя последовательностями событий, которые, будучи связаны друг с другом глубинными связями, тем не менее, принадлежали к двум различным политическим или нравственным вселенным?»

Действительно, решающий вопрос, ответ на который определит ракурс взгляда на весь завершающийся век и планы на бурный будущий век. Если же сталинизм, как доказывают (или с чем склонны согласиться) одни, был лишь простым «отклонением» или «трагическим развитием» коммунистического проекта, то нам придется сделать довольно радикальные выводы относительно коммунизма в целом.

***Суд весьма в духе fin-de-siècle***

Именно этого желают те, кто стоит за «Черной книгой». Собственно, отталкивает сам тон времен «холодной войны», принятый Стефаном Куртуа и некоторыми средствами массовой информации.

Однако этот тон вовсе не вышел из моды. Капитализм, хитро перекрещенный в «рыночную демократию», триумфально провозглашает поражение любой альтернативной модели после распада СССР. Капитализм хотят выставить абсолютным победителем конца XX века.

На самом деле, это укоренившееся, несущее на себе печать «Холодной войны» представление выдает жуткий, тайный и неотступный страх – будто пороки и кровоточащие язвы системы проявятся еще очевиднее теперь, когда капитализм уже не может использовать почившего в бозе бюрократического близнеца для своего алиби.

Поэтому системе в профилактических целях необходимо демонизировать все, что лишь намекает на возможности иного будущего для нашей планеты.

Теперь, когда сталинистский двойник стигнул окончательно, призрак коммунизма может вновь вернуться в сей мир. Сколько некогда ревностных сталинистов из-за собственной неспособности провести различие между сталинизмом и коммунизмом порвали со сталинизмом и перестали быть коммунистами – лишь для того, чтобы еще ревностнее служить капитализму?

Сталинизм и коммунизм не только различны, они внутренне антагонистичны. Память об этом поможет нам отдать дань уважения многим коммунистам – жертвам сталинизма.

Сталинизм – не вариант коммунизма, это скорее название для бюрократической контрреволюции. Конечно, в судорогах борьбы против нацизма и в тисках мирового кризиса между двумя мировыми войнами честные члены партии не сразу разобрались в этом и продолжали без остатка отдаваться служению партии. Но это ничего не меняет. Отвечая на вопрос М. Гефтера, мы должны сказать, что речь идет действительно о «двух политически и нравственно непримиримых мирах».

Другими словами, наши выводы находятся в явном противоречии с теми, к которым пытается нас подвести Стефан Куртуа в «Черной книге коммунизма».

Время от времени Куртуа отрицает, что призывал к новому Нюрнбергскому трибуналу над коммунизмом. Ему несколько не по себе оказаться в компании с такими ультраправыми лидерами как Жан-Мари Ле Пен из французского Национального фронта.

Вместе с тем, подход авторов «Черной книги» не только стирает разницу между нацизмом и коммунизмом, но и подталкивает читателя к выводу, что так называемое «объективное» арифметическое сопоставление этих двух течений оказывается более выгодным для нацизма.

В книге говорится, что нацизм в ответе только за 25 миллионов загубленных жизней, коммунизм – за 100 миллионов; нацистский террор продолжался 20 лет, а коммунистический – 60 лет.

На суперобложке первого издания гордо провозглашалось, что коммунизм отнял 100 миллионов жизней. Внутри книги авторы заканчивают суммой 85 миллионов. Очевидно, Куртуа, или его издатели, щедро подбросили еще 15 миллионов для круглого счета.

Есть что-то жуткое и циничное в таком зловещем жонглировании цифрами, когда в одну кучу валят события, происходившие в разных странах, в разные исторические периоды, по различным причинам. И уж, вне всякого сомнения, это крайне неуважительно по отношению к жертвам.

Что касается Советского Союза, здесь Куртуа насчитывает 20 миллионов жертв, хотя и не раскрывает точнее, из чего эта цифра складывается.

Собственно, в статье Николая Верта в «Черной книге» указывается цифра гораздо ниже обычных оценок. Он сообщает, что историки, основываясь на точных архивных данных, оценивают число погибших в чистках 1936–38 годов в 690 000 человек. Эти цифры сами по себе огромны, в них – гораздо больше, чем просто трагедия.

По оценке Верта, в ГУЛАГе ежегодно содержалось около двух миллионов заключенных, из которых намного больше, чем обычно считают, освобождалось, а на место выпущенных помещались новые.

Таким образом, чтобы получить цифру 20 миллионов смертей, необходимо включить (вдобавок к чисткам и ГУЛАГу) погибших от голода (5 миллионов умерло в 1921–22гг., 6 миллионов – в 1932–33гг.) и в Гражданскую войну.

Неудивительно, что авторам «Черной книги» не удастся доказать, что голод и Гражданская война были «преступлениями коммунизма», хладнокровно спланированными и свершенными.

С таким идеологическим подходом, вероятно, нетрудно было бы составить «Красную книгу преступлений капитализма», прибавив к жертвам колониализма и геноцида, мировых войн всех тех, кто погиб от увечий на рабочем месте, в эпидемиях, умер от голода, причем не только в прежние годы, но и тех, кто продолжает погибать сейчас, каждую минуту.

Только в XX веке без труда удалось бы насчитать несколько сотен миллионов жертв. Согласно взглядам Ханны Арендт, современный империализм – абсолютная копия тоталитарного режима, а южноафриканские концентрационные лагеря – прелюдия ко всем прочим, что возникли после них.

Если мы не будем анализировать конкретные режимы, исторические периоды и причины конкретных конфликтов, а зададимся целью просто инкриминировать, то, например, сколько смертей окажется на счету у христианства и всех его евангельских миссий, у рыночного капитализма и «свободного предпринимательства»?

Даже в России, при условии, что мы примем размашистые вычисления Куртуа, капитализму все равно придется отвечать за гораздо большее число смертей, чем вмененные сталинизму «20 миллионов жертв». Не забывайте о двух мировых войнах.

Преступления сталинизма достаточно страшны и массовы сами по себе, чтобы набрасывать «до ровного счета». Если, конечно, не



ставить перед собой заведомой цели затуманить исторический анализ.

А именно это случилось с двухсотлетием Великой Французской революции. Тогда некоторые историки с огромным энтузиазмом сваливали на революцию вину не только за террор и вандейское сопротивление, но и за белый террор, за тех, кто погиб в борьбе против контрреволюционной коалиции интервентов, даже за жертв наполеоновских войн!

Нет ничего особенно нового в документированных и достаточно полезных сопоставлениях нацизма и сталинизма. К примеру, Троцкий говорил о Гитлере и Сталине как о «двойном небесном теле».

Но и различия не менее важны, чем сходство. Нацистский режим методично строил свой «новый порядок» в полном согласии с провозглашаемыми принципами, в то время как сталинский режим был построен вопреки коммунистическому плану освобождения и равенства.

Сталинизму пришлось уничтожить базу активных коммунистов, дабы консолидироваться. Огромное количество диссидентских кружков и оппозиционеров между двумя войнами – доказательство этого трагического превращения. Самоубийство таких людей как Маяковский, Иоффе, Тухольский и Бенъямин, среди прочих – тоже.

Могут ли нацисты привести подобные примеры душевных терзаний, вызванных предательством и искажением их идеала? Гитлеровской Германии не надо было превращаться, как сталинской России, в «страну великой лжи». В конце концов, немцы гордились своими достижениями, бюрократы-сталинисты же не могли открыто глядеться в зеркало коммунистических принципов. Выбирая такой метод рассмотрения истории, который преднамеренно деполитизирует и размывает конкретную историю во времени и пространстве, авторы «Черной книги» являют нам лишь театр теней, не более.

Например, Никола Верт открыто принимает «смену приоритетов в политической истории» лишь для того только, чтобы удобнее было описывать лишенную контекста линейную историю репрессий. Цель уже не в том, чтобы призвать режим, эпоху или конкретного палача к суду, а скорее в том, чтобы инкриминировать некую идею, «идею, которая убивает».

Если, однако, вести суд не на основании фактов и конкретных преступлений, а судить идею, это неизбежно приведет к возникновению коллективной ответственности, да еще за преднамеренно совершенное преступление.

Для Куртуа суд истории не только можно применить к уже свершившимся событиям. Он приобретает свойство угрожать «в превентивных целях», когда автор заявляет, что «идея коммунизма была похоронена недостаточно глубоко» и с негодованием замечает, что «неприкрыто революционные группы все еще существуют и действуют совершенно легально»!

Конечно, каяться сейчас модно. Бывших сталинистов заедает совесть. Некоторым из них, как, впрочем, и самому Куртуа, есть, в

чем покаяться и над чем поскорбеть. Искупление для них, скорее всего, будет горьким. Но это их удел.

А что же те, кто остался коммунистами и никогда не обожествлял Сталина и не цитировал из «Красной книжечки» председателя Мао? За что призывает Куртуа покаяться их? Несомненно, они совершали ошибки. Но с учетом того, куда и как движется мир, ясно, что вряд ли они избрали ложную цель или ошиблись в определении противника.

Чтобы понять причины трагедий XX века и извлечь полезные уроки на будущее, нам нужно оставить идеологическую сцену. Необходимо перешагнуть через отброшенные на нее сражающимися актерами тени и окунуться в историю, изучить логику политических конфликтов, в процессе которых среди множества исходов совершается конкретный выбор.

### ***Революция или переворот?***

Критический обзор революции в России по случаю ее 80-летия ставит ряд вопросов как исторического, так и программного свойства. Ставки высоки, на кону, в частности, представление о возможности революционных действий в будущем. Ведь, в конце концов, каждая версия прошлого ведет к новому варианту будущего.

После открытия советских архивов стало известно огромное количество новых документов, которые, вне всякого сомнения, прольют новый свет на события тех лет и породят новые споры. Но и не погружаясь в недра архивов, мы натываемся на господствующий идеологический дискурс.

Неудивительно, что в наши дни контрреформ и реакции Ленин и Троцкий поливаются грязью, так же, как герои Великой Французской революции Робеспьер и Сен-Жюст со времен Реставрации.

Чтобы сориентироваться в современных дискуссиях, стоит начать с обзора трех идей, получивших сегодня широкое распространение:

1. Октябрь был на самом деле не революцией, а, скорее, заговором или переворотом, инспирированным явным меньшинством. С самого начала сверху была навязана авторитарная концепция организации общества, предоставляющая привилегии новой элите.

2. Направление развития русской революции и ее тоталитарные несчастья легко было предсказать. Они проистекают как бы из первоначального греха революционной идеи. Разворачивание реальных исторических событий поэтому можно свести к этапам воплощения этой извращенной идеи, а всеобщие волнения, колоссальные события и неопределенность исхода борьбы – бесстыдно вынести за скобки.

3. Русская революция была обречена на поражение с самого начала. Она родилась «преждевременно» по отношению к развитию «исторического процесса». Она явилась следствием попытки подстегнуть историю. Не сложились еще условия для свержения капитализма. А вожди большевиков вместо того, чтобы проявить мудрости и самоограничение, на деле выступили агентами этого ускорения истории.

**Революция «снизу»**

Революция в России была не результатом какого-то заговора, а, напротив, скорее взрывом усугубленных войной противоречий, накопившихся при царизме.

К началу столетия российское общество натолкнулось на высокую прочную стену из этих противоречий. Страна являла собой показательный пример «смешанного и неравномерного развития», будучи одновременно и доминирующей, и подчиненной. Черты феодального сельского уклада, где рабство было отменено всего каких-то полвека назад, сочетались с чертами высшей концентрированной формы промышленного капитализма. Будучи мировой державой, Россия являлась одновременно технологически и финансово зависимой страной.

Список претензий, составленных попом Гапоном во время революции 1905 года, - впечатляющий перечень бед, накопившихся при царизме. Попытки провести реформы быстро оказались заблокированы консерватизмом олигархии, упрямством деспота и слабостью буржуазии перед лицом нарождающегося рабочего движения.

Поэтому задачи демократической революции перешли к третьей силе: в России, в отличие от Франции времен Великой французской революции, современный пролетариат был наиболее динамичной силой. Именно по этой причине «Святая Русь» и представляла тогда собой «слабое звено» в цепи империализма. Опыт первой мировой войны поджег пороховницу.

Развитие революционного процесса между февралем и октябрём 1917 года совершенно ясно показывает, что дело отнюдь не в кучке профессиональных агитаторов. Скорее, произошло ускоренное поглощение политического опыта в массовом масштабе, обширная метаморфоза сознания, постоянные изменения в соотношении сил.

В своей скрупулезной «Истории русской революции» Троцкий подробно анализирует эту радикализацию среди рабочих, солдат и крестьян - от одних выборов в профсоюзы до других, от одних выборов в советы до следующих. Хотя на Первом съезде Советов в июне 1917 года от большевиков было лишь 13% делегатов, после попытки Корнилова устроить переворот в июле положение быстро перевернулось. Ко Второму съезду, в октябре, большевики составляли 45-60% делегатов.

Восстание отнюдь не было делом неожиданно осуществленного волевого переворота. Скорее, оно явилось итогом и временным разрешением пробы сил, накапливавшихся на протяжении года. Сочувствие масс было решительно на стороне левого крыла партий и их руководителей, - причем не только эсеров, но даже и части вождей большевиков. Вплоть до (и включая) голосования по вопросу о вооруженном восстании.

Историки обычно соглашались, что Октябрьское восстание, которое само по себе было не более жестоким и насильственным, чем взятие Бастилии, явилось кульминацией длившегося весь год процесса разложения прежнего режима. Вот почему столь невелики были человеческие потери во время самого восстания, по сравнению с

известными нам из дальнейшей истории эпизодами применения насильственных методов в масштабах общества.

Относительная «легкость» захвата власти большевиками иллюстрирует немощь русской буржуазии в период между февралем и октябрём. Она оказалась неспособной укрепить власть и предпринять строительство современного общества на руинах царизма.

Вследствие этого выбор состоял вовсе не между революцией, с одной стороны, и неразвитой демократией – с другой. Скорее перед страной было два авторитарных варианта: революция или военная диктатура во главе с Корниловым или кем-то ему подобным.

Если под революцией мы понимаем дух и движение трансформации «снизу», базирующейся на самых глубинных чаяниях народа – в противоположность некоему чудесному плану, порожденной просвещенной элитой – тогда Русская революция была революцией в полном смысле этого слова, так как питалась требованиями мира и земли.

Чтобы понять, что радикальное изменение системы собственности и отношений власти уже шло, нужно только посмотреть, какие законы были приняты новой властью в первые месяцы первого года революции. Под давлением обстоятельств эти перемены иногда происходили быстрее, чем кто бы то ни было ожидал или даже хотел.

Этот разрыв со старым миром описан в ряде книг, особенно ярко – Джоном Ридом в его «Десяти днях, которые потрясли мир». Это повествование непосредственно воздействовало на жителей многих стран, в особенности на рабочее и социалистическое движение.

В те дни мало кто лил слезы по царизму и по последнему деспотическому правителю. Марк Ферро особо подчеркивает, что – как во всех истинных революциях – мир был перевернут буквально во всем, даже в мелочах. В Одессе, отмечает он, студенты университета заставляют профессоров читать им новые курсы, в Петрограде рабочие обязывают хозяев подчиняться «новому рабочему правлению», в армии солдаты пригласили священника участвовать в своих сходках, чтобы «наполнить его жизнь новым содержанием», а в некоторых школах младшие мальчики потребовали права получать уроки бокса, чтобы заставить старших школьников себя уважать.

### ***Испытание Гражданской войной***

Несмотря на ужасные условия жизни, этот первоначальный революционный толчок все еще действовал во время Гражданской войны, которая началась в 1918 году. В своей статье в «Черной книге» Николая Верта приводит подробный список всех сил, которые выступили против нового режима. Там значатся Белые армии Колчака и Деникина, французские и английские интервенты. Значатся также массовые выступления крестьян против продразверстки и бунты рабочих против введения карточек.

При чтении труда Н. Верта трудно представить себе, откуда у революционного правительства могли взяться силы для борьбы со всеми этими мощными противниками, не говоря уже о победе над

ними. Верт утверждает, что этого удалось достичь путем террора меньшинства и вербовки отчаявшихся люмпен-пролетариев в тайную полицию - ЧК.

Его объяснение не берет в расчет ни формирование Красной Армии в считанные месяцы, ни многих ее побед.

Согласно мнению авторов «Черной книги», большевики с самого начала жаждали гражданской войны. Куртуа и др. описывают террор, начавшийся летом 1918 года, как начальную точку всех преступлений, совершенных впоследствии во имя коммунизма.

Но реальная история, состоящая из конфликтов, борьбы, неясностей, побед и поражений не сводима к такой мрачной истории саморазвития концепции, согласно которой «идея порождает мир».

Разумнее рассмотреть Гражданскую войну в совокупности и признать, что она являла собой безжалостную конфронтацию антагонистических общественных сил.

Хотя большевики не жаждали гражданской войны, они ее предвидели. Что совсем не одно и то же.

Начиная со времен Великой Французской революции, все последующие революции демонстрировали печальную истину, что любому движению за эмансипацию будут противостоять консервативные реакционные силы. Контрреволюция следует за революцией как тень. Так было в 1792 году, когда войска Брауншвейга маршировали по улицам Парижа, в 1848-м, во время июньской резни, и в Кровавую неделю 1871 года.

Эта закономерность ни разу не была нарушена с тех пор, от мятежа Франко в 1936 году до переворота Сухарто в 1965-м в Индонезии (унесшего, по меньшей мере, 500 000 жизней) и путча Пиночета в 1973 году в Чили.

Русские революционеры развязали гражданскую войну не в большей мере, чем французские в 1792-м. Они не призывали французские и английские войска придти и свергнуть их.

Верт упоминает, что в начале лета 1918 года белые армии окопались на трех фронтах и что большевики «контролировали лишь Москву и прилегающую область». Машина террора была пущена в ход в сентябре 1918 года, когда началась интервенция и Гражданская война. Сходным образом, во время Великой Французской революции Дантон объявил террор, чтобы направить в некоторое русло спонтанные вспышки насилия со стороны населения (сентябрьская резня), возникавшие в связи с угрозой Парижу со стороны наступающих войск Брауншвейга.

Верт признает, что революция не виновата в начале Гражданской войны. Хотя он и составляет каталог жестокостей, совершенных как белыми, так и красными, зародыш будущих преступлений он видит в «скрытой войне внутри войны» - против крестьянства.

Чтобы включить жертв голода 1921-22 годов в общий счет жертв преступлений коммунизма, Верт склонен описывать голод как результат сознательного решения об уничтожении крестьянства.

Действительно, существуют доказательства жестоких репрессий в деревне. Но возможно ли разделить проблему Гражданской войны и аграрный вопрос?

Чтобы противостоять агрессии против нового правительства, в Красную Армию пришлось набрать 4 миллиона бойцов за считанные месяцы. Этим бойцов надо было снабдить оружием, одеть, обуть и накормить. За два года Петербург и Москва потеряли более половины своего населения. Промышленность была разрушена и ничего не выпускала. Как в таких условиях было прокормить города и армию иначе, чем реквизируя продовольствие?

Несомненно, можно вообразить способы устроить все иначе. Задним умом мы понимаем опасности, которые влечет за собой учреждение политической полиции с бюрократическим произволом местных мелких тиранов. Но мы здесь обсуждаем имевшиеся пути решения проблем, возможные альтернативы перед лицом реальных трудностей, а не строим праздные догадки.

К концу Гражданской войны низы перестали выдвигать новых вождей революции. Вместо этого имевшиеся лидеры стали тянуть низовые движения за собой.

Отсюда следует механизм подмены, когда партия подменяет собой народ, бюрократия замещает собою партию, а провинциальный лидер подменяет собою всё и вся.

В процессе возникла новая бюрократия – наследие прежнего режима и результат ускоренной социальной мобильности новых лидеров.

После массового призыва в партию в 1924 году несколько тысяч членов, вступивших в нее до Октября, стали иметь относительно небольшой вес по сравнению с сотнями тысяч новых большевиков. Среди членов нового призыва было немало карьеристов, которые примкнули к партии после победы Красной Армии, вместе с элементами, перешедшими от царистской чиновничьей системы.

### ***Наследие Гражданской войны***

Гражданская война была для революции кошмарным началом. Она понизила порог восприятия насилия, которое во время Первой мировой войны и без того обрело невиданные по жестокости формы.

Такое начало повлекло за собой традицию чиновничьей грубости и произвола, о чем стало известно Ленину во время кризиса с грузинскими коммунистами, как описывает в своей книге «Сталин» Троцкий.

Ленинское «Завещание» и «Дневник секретарей Ленина» (См. «Последняя борьба Ленина» М. Левина) свидетельствуют – явным образом и в форме, которая не может не вызвать сочувствия – о том, что Ленин вполне осознавал эту проблему. Революции творят массы и целые народы, но умирающий Ленин был поставлен в такие условия, когда ему оставалось только взвешивать сильные и слабые стороны горстки лидеров, от которых теперь все начинало зависеть.

Вне всякого сомнения, Гражданская война была гигантским скачком назад, отступлением для страны по отношению к уровню развития на 1914 год. Ее ресурсы иссякли. Из четырех миллионов довоенного населения Петрограда и Москвы осталось к концу Гражданской войны только 1,7 миллиона. Число промышленных рабочих Петрограда сократилось с 460 000 до 80 000.

Разоренные города стали для деревни ненасытными паразитами, их нужды служили поводом для чиновников, проводивших продразверстку. В Красной Армии было 4 миллиона бойцов.

«Когда новый строй смог, наконец, начать движение к намеченной цели, - пишет М. Левин, - стартовать пришлось с отметки гораздо более низкой, чем в 1917 году, не говоря уже о 1914». За время войны установился номинальный - военный - социализм, новое государство строилось на руинах. «Собственно, государство строилось на базе регрессивной формы общественного развития».

В этом - главная причина бюрократизации. Ряд советских лидеров, включая Ленина, довольно рано увидели опасность и с болью переживали свою неспособность остановить приливную волну. Непереносимая тяжесть обстоятельств и отсутствие демократической культуры сыграли тут ключевую роль. С самого момента захвата власти, несомненно, началась путаница в вопросе о соотношении между государством, партией и рабочим классом.

Путаница коренилась в идее о скором отмирании государства и исчезновении конфликтующих течений в народе. Таким образом мостился путь для «огосударствления» общества, а не для обобществления государственных функций.

Демократизация - длительный и трудный процесс. Она идет совсем иным темпом, чем издание указов об экономических реформах. Особенно в стране, где почти неразвиты традиции парламентаризма и плюрализма. Процесс этот требует времени, энергии и ресурсов.

Взрыв и бурное развитие активности в комитетах и советах в 1917 году были первой стадией этого процесса. Нарождалось гражданское общество. В трудных условиях гражданской войны наиболее простым решением было подчинить органы народовластия - советы - просвещенному руководителю, то есть, партии. На практике это означало замену принципа избираемости и ответственности представителей перед избирателями назначениями по линии партии, в некоторых случаях уже в 1918 году. В конце концов, такая практика привела к уничтожению политического плюрализма и свободы выражения мнений, необходимых для демократического образа жизни. А также к систематическому подчинению закона силе - «кто силен, тот и прав».

Бюрократизация происходила не только из манипуляции сверху, но также временами подкреплялась нуждами снизу, что делало еще труднее борьбу с ней.

Низы хотели порядка и мира после тяжких испытаний Первой мировой и гражданской войн, - нужда была так велика и страшна, что дискуссии по поводу демократии, политическая агитация и призывы

к проведению в жизнь принципа ответственности воспринимались как досадные пустяки.

Марк Ферро совершенно справедливо привлекает внимание читателей к этой непримиримой диалектике. Он вспоминает, что в самом начале революции «было два направления - демократически-авторитарное на местах и централистско-авторитарное среди лидеров». К 1939 году, пишет он, «осталось лишь одно из двух». Но сам Ферро считает, что вопрос этот был бесповоротно решен за несколько месяцев 1918 и 1919 годов, когда на обочину отходят или вовсе исчезают местные и рабочие комитеты.

Сходным образом думает и философ Филипп Лаку-Лабарт, который выражается еще более энергично, когда объявляет, что большевизм «стал контрреволюционен с 1920-1921» (т.е., даже до Кронштадтского мятежа).

Это ключевой момент. Главное не предлагать манихейского взгляда, согласно которому, с одной стороны выступает «золотой век» «ленинизма при Ленине», а с другой - ленинизм при Сталине. Дело не в противопоставлении славных 20-х мрачным 30-м, так будто в 20-е в стране Советов еще не происходило ничего дурного.

Да, бюрократизация началась с самого начала. Да, ЧК жила своей жизнью. Да, трудовые колонии на Соловецких островах открылись в конце гражданской войны, когда Ленин еще был жив. Да, многопартийная система была уничтожена и свобода выражения ограничена. Демократические права внутри самой партии были ограничены, начиная с Десятого съезда в 1921 году.

Но процесс, который мы называем бюрократической контрреволюцией, не был тем событием, дату которого можно назвать однозначно, как дату начала Октябрьского восстания. Он сложился не за один день, а из серии решений, конфронтаций и событий. Даже те, кто специально занимается этим вопросом, не имеют точной периодизации процесса, - причем не из-за одержимости исторической точностью, а скорее из-за неопределенности политических задач, к которым может подвести итог споров.

Множество граней этого процесса - его возникновения и развития - можно проследить частично по свидетельствам Росмера, Истмена, Суварина, Истрати, Беньямина, Замятина и Булгакова (по их письму к Сталину), в поэзии Маяковского, по метаниям Мандельштама и Цветаевой, записным книжкам Бабея.

В качестве примера возьмем Кронштадт. Жестокое подавление мятежа весной 1921 года убедило многих лидеров страны в том, что необходима реориентация экономической политики.

Или возьмем исход Гражданской войны. Хотя режим вышел из нее с победой, он продолжал и дальше ограничивать демократические свободы, а не расширять их. Десятый съезд запретил фракции и отклонения от главной линии.

Вооруженные знанием последующих событий, мы можем и обязаны вернуться к вопросам о представительской демократии, политическом плюрализме, цензуре, роспуске Учредительного Собрания, чтобы построить теоретический контекст для исследования проблем, с



которыми пришлось столкнуться пионерам строительства социализма, - и обсудить уроки их опыта.

Ясно, что наследие царизма, четыре года бойни Первой мировой войны, на фронты которой было мобилизовано 15 миллионов русских солдат, жестокость и насилие Гражданской войны более весомы и оказывают куда более сильное влияние на будущее революционного правительства, чем концептуальные ошибки вождей, как бы серьезны они ни были.

Статью «Революция и закон», опубликованную в номере «Правды» за 1 декабря 1917 года, будущий министр образования Луначарский начинает с наблюдения, что «общество не представляет собой единого целого».

Прошло немало времени и потребовалось пережить немало трагедий, прежде чем удалось понять все, что подразумевала эта короткая фраза. Общество не является единым целым - даже после свержения старого строя нельзя предполагать, что удастся обобществить государство декретом, избежав риска «огосударствления» общества.

Так как общество не является единым целым, профсоюзы должны были оставаться независимыми от государства и от политических партий, а партии не должны были зависеть от государства. Конфликтующие интересы внутри общества должны были находить выход в независимой прессе и различных формах выражения. Должна быть также обеспечена автономия правовых форм и установлений, чтобы управление на основе законов не замещалось принципом «кто сильнее, тот и прав».

Таким образом, защита политического плюрализма не есть ситуативный вопрос, а существенное условие социалистической демократии. Троцкий приходит в «Преданной революции» к следующему заключению: «В действительности классы разнородны; их разрывают изнутри антагонизмы и к решению общих проблем они приходят лишь преодолевая внутреннюю борьбу различных тенденций, групп и партий».

Это означает, что коллективная воля может выражаться лишь через процесс свободных выборов - вне зависимости от формы их проведения - который объединяет собой прямую демократию непосредственного участия и представительскую демократию.

В то время как абсолютной гарантии против бюрократизации и профессиональных опасностей пребывания у власти не существует, опыт подсказывает ряд специальных мер наряду с общим подходом.

Во-первых, различие между классами, партиями и государством должно быть отражено в признании политического и профсоюзного плюрализма. Лишь таким способом могут выявиться противоречия между различными программами и способами реагирования на все основные вопросы, встающие перед обществом. Обмен различными точками зрения в органах местной власти недостаточен.

Во-вторых, избранные представители должны быть напрямую ответственны перед своими избирателями, которые должны иметь право отзыва. Представители же не должны быть связаны определенным

мандатом, так как это препятствует настоящему обмену мнениями и всестороннему обсуждению.

В-третьих, те, кто избран на руководящие посты, должны быть ограничены строгими рамками: они не должны занимать несколько постов одновременно, их мандаты не должны возобновляться. Зарплата их не должна превышать зарплату квалифицированного рабочего или служащего, чтобы власть не превращалась в своего рода заповедник для избранных.

В-четвертых, правительство должно быть децентрализовано, чтобы ответственность ложилась на уровень местной, региональной или общегосударственной администрации в зависимости от того, кого затрагивает принимаемое решение, причем с правом вето для более низких уровней государственного управления по вопросам, непосредственно воздействующим на граждан той или иной области. Следует также предусматривать объявление референдума по инициативе снизу.

Демократия свободно объединившихся производителей прекрасно сочетается с системой всеобщего освобождения и равноправия. Местные советы и территориальные собрания, составленные из представителей предприятий и жителей, могут быть учреждены и, в свою очередь, могут проводить голосование по вопросам, затрагивающим их избирателей.

Недавний опыт (Польша в 1980–1981 гг., Никарагуа в 1984-м) указал путь к системе, состоящей из двух палат: одна избрана прямым равным голосованием, вторая состоит из представителей организаций рабочих, крестьян и – шире – всех разнообразных форм (ассоциаций, комитетов) народовластия.

Такой подход (который в многонациональных государствах должен предполагать также палату представителей различных национальностей) позволяет удовлетворять потребность во всеобщих выборах, с одной стороны, и осуществлять прямое народовластие, с другой. Он действует как постоянный регулятор для законов, смешивающих реальность общества в целом с областью государственных интересов, а целью поддержания такой системы должно быть постепенное отмирание государства параллельно с развитием, распространением и расширением самоуправления.

Подобный подход является сводом болезненных уроков истории. Он не дает стопроцентной защиты от опасностей пребывания у власти, не предлагает универсальный рецепт на все случаи жизни. Задним числом можно обсуждать последствия решения большевиков распустить Учредительное Собрание. Необходимо сопоставить представительность этого собрания и Съезда советов в конце 1917 года. Не предпочтительнее ли было сохранить обе представительные формы (продлить своего рода двоевластие)? И не следовало ли по окончании Гражданской войны, несмотря на то, что в условиях разрухи и иностранного давления могли победить потерпевшие военное поражение белые, все же провести всеобщие выборы?

Каждую ситуацию следует рассматривать в специфическом контексте соотношения внутренних и внешних сил того времени. Но, что

ни говори, весь исторический опыт до сего времени подтверждает справедливость высказывания Розы Люксембург 1918 года: «Без всеобщих выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь во всех общественных учреждениях умирает, становится лишь видимостью жизни, где одна лишь бюрократия остается действовать».

Потребность в глубоко укорененной форме демократии – это одновременно вопрос свободы и условие эффективности экономики. Это единственный путь обеспечить превосходство плановой самостоятельной экономики над всеохватным автоматизмом рынка.

### ***Жажда власти?***

В своей совокупности исход первой социалистической революции, триумф сталинизма и преступления тоталитарной бюрократии составляют ряд крупнейших событий двадцатого века. Некоторые убеждены, что сама природа человека несет в себе семена зла. Они считают, что в человеке существует необоримое стремление к власти, проявляющееся в различных формах, в том числе в стремлении сделать всех людей счастливыми, применив к ним надуманные утопические схемы. Полемическая цель «Черной книги» – доказать, что Сталин шел по пути непосредственно проложенному Лениным. Для этого, правда, необходимо распрощаться со старой легендой, что «Сталин предал Октябрьскую революцию». Жак Амальрик пишет: «Ужасы сталинизма вытекают из ленинизма», а Эрик Конан напрямую заявляет, что «первоначальный преступный импульс исходит от Ленина».

Такой аргумент получил некоторый резонанс даже в левом движении. Руководство французской коммунистической партии (ФКП) не нашло в себе сил распространить самокритику на внимательное исследование традиционной для ФКП периодизации Русской революции и различных течений, которые сталкивались друг с другом в 20–30е годы. Вместо этого оно слегка покритиковало само себя, упомянув при этом об преступлениях сталинизма как о «трагическом развитии» революционного момента.

Если трагическое развитие столь фатально, столь неизбежно с самого первого дня, к чему вообще называться сегодня коммунистами?

### ***20-е годы: пути расходятся***

Начальный революционный импульс ощущался на протяжении всех двадцатых годов – вопреки бюрократической реакции, которая очень рано начала «замораживать революцию», вопреки лишениям и культурной отсталости.

Этот динамизм заметен во многих новаторских начинаниях в повседневной жизни: реформа в образовании и педагогике, семейное законодательство, градостроительные утопии, эксперимент в графиче-

ке и кинематографе. Тем же динамизмом объясняются противоречия и сомнения болезненного «великого преобразования» в межвоенный период. С одной стороны – бюрократический террор, с другой – энергия революционной надежды. Из-за такой противоречивости становится сложнее осознать истинный смысл обстоятельств того времени и их исторических последствий.

Тем не менее, крайне важно изучать корни и основные проявления так называемого «феномена сталинизма», внимательно всматриваясь в то, как было организовано общество в те годы, какие силы вели в нём борьбу.

В своих конкретных исторических обстоятельствах сталинизм был частью более общей тенденции к бюрократизации, наблюдающейся во всех современных обществах. Эта тенденция питается в основном за счет общественного разделения труда (прежде всего на физический и умственный) и – проистекающих из такого разделения – «профессиональных опасностей пребывания у власти».

В Советском Союзе эта тенденция была особенно явной, – бюрократизация происходила на фоне разрухи, лишений, культурной отсталости и отсутствия демократических традиций. С самого начала социальная база революции была одновременно широка и узка. Широка оттого, что базировалась на союзе рабочих и крестьян, составлявших огромное большинство населения. А узка оттого, что рабочие как класс, сами по себе составлявшие меньшинство, вскоре были в значительной мере уничтожены из-за коллапса промышленности после войны и выбиты в сражениях. Бюрократическая же жестокость всегда пропорциональна хрупкости социальной базы и степени паразитизма бюрократии. И все же между началом 20-х и страшными 30-ми наблюдается явный разрыв как во внешней, так и во внутренней политике.

Конечно, авторитарные тенденции начали брать верх уже в конце 20-х. Одержимые угрозой (вполне реальной), исходящей от «главного врага» – империалистической агрессии и реставрации капитализма – большевистские вожди начали недооценивать «меньшего врага» – бюрократию, которая подтачивала их изнутри и в итоге пожрала окончательно.

Трудно было вообразить столь беспрецедентное положение вещей: требовалось время, чтобы понять его, проанализировать и начать действовать на основе такого анализа. Ленин понял, что Кронштадтский кризис – это тревожный сигнал, что заставило его призвать к реориентации экономики, но политический плюрализм как принцип, коренящийся в разнородности самого пролетариата и применимый даже после захвата власти, был постулирован гораздо позже, в работе Троцкого «Преданная революция».

Большинство документов и воспоминаний о Советском Союзе и партии большевиков совершенно ясно говорят о том, что в 30-е годы действительно произошла смена курса. Наилучшим доказательством являются многие миллионы погибших от голода, депортированных, жертв трибуналов и чисток. Бюрократии потребовалось инициировать

ураган жестокости, чтобы собрать всю свою силу воедино и без потерь достичь «Съезда победителей» в 1934 году.

### ***Главный поворотный пункт***

Николя Верт в целом видит преемственность между террором Гражданской войны и массовым террором 30-х годов. Однако он уделяет слишком мало внимания 20-м годам и спорам о направлении развития внутри партии. Для него 20-е годы были лишь «передышкой» и «прекращением огня» между двумя раундами государственного терроризма.

Тем не менее, он сам приводит доказательство количественного изменения масштаба репрессий и качественного изменения их направленности.

В 1929 году план «массовой коллективизации» поставил цель коллективизировать 13 миллионов крестьянских хозяйств силой. Выполнение этого плана спровоцировало цикл страшного голода и массовых ссылок 1932-33 гг. «Весна 1933 года была явно высшей точкой первой волны террора, начавшейся в конце 1929 года с политикой раскулачивания».

В 1934 году, после убийства петроградского партийного лидера Кирова, началась вторая волна. Она включает гигантские политические процессы и особенно «великую чистку» 1936-38 годов, которая, по оценкам, унесла жизнь 690 000 человек. Насильственная коллективизация и форсированная индустриализация привели к тому, что целые большие сектора населения были выкорчеваны, города заселены выходцами из деревни, а в ГУЛАГе произошел громадный рост числа заключенных. Произошло численное увеличение и ужесточение репрессивных законов. В июне 1929 года, во время массовой коллективизации, была существенно реформирована тюремная система: заключенные со сроком, превышавшим три года, переводились затем в трудовые лагеря.

В условиях неконтролируемого роста внутренней миграции в декабре 1932 года были введены внутренние паспорта. Через несколько часов после убийства Кирова Сталин собственноручно подписал декрет, который стал известен как «Закон 1-го декабря 1934 года», который узаконивал суммирование наказаний, что предоставило механизм выбора для Великого террора.

Помимо уничтожения всех низовых движений в городах и деревне, этот бюрократический террор также ликвидировал последние остатки наследия Октября. Нам известно, что трибуналы и чистки выкосили огромную часть членов партии и армейских командиров. Большинство кадровых членов партии времен революции были либо сосланы, либо казнены. Из 200 членов ЦИК компартии Украины выжило лишь трое.

В то же время происходит огромный рост управленческого аппарата - как для осуществления этих гигантских репрессий, так и для управления экономикой, полностью перешедшей в руки государства. Согласно данным Моше Левина, если в 1928 году на службе государ-

ства состояло 1,45 миллиона управленцев, то к 1939 году их число достигло 7,5 миллионов. В то же самое время общее число ИТР выросло с 3,9 миллионов до 13,8 миллионов. Как видно, «бюрократия» – отнюдь не расплывчатое понятие. Это общественная сила.

Бюрократический аппарат государства проглотил всех до единого истинных активистов партии, которые еще оставались. Эта контрреволюция была ощутима во всех областях: в экономической (насильственная коллективизация и массовый рост ГУЛАГа), во внешней политике (в Китае, Германии и Испании), в культурной политике, в том складе повседневной жизни, который Троцкий назвал «внутренним термидором», в идеологии, где происходила кристаллизация государственной ортодоксии, кодификация «диамата» (диалектического материализма) и была опубликована официальная история Коммунистической партии Советского Союза.

Ничем, кроме как контрреволюцией это не назовешь. Предпринятые меры были качественно шире, количественно более ощутимы и существенно более разрушительны, чем авторитарные шаги – сколь ни тревожными они казались – предпринятые в горячке Гражданской войны.

Николя Верт разрывается между признанием, что 30-е годы представляли собой нечто радикально новое, и упорным нежеланием отказать от утверждения, что между революционными обещаниями Октября и триумфом сталинской реакции была прямая преемственность. С одной стороны, он пишет о триумфе сталинизма как о «решающем эпизоде» в установлении системы репрессий, а с другой – как о «финальном эпизоде конфронтации, начавшейся в 1918-1921 годах». Что это – решительный поворот на сто восемьдесят градусов или лишь последняя глава? Либо одно, либо другое.

Если сконцентрировать внимание на идее преемственности, то придется перескочить через споры и разногласия 20-х, через ставки, которые делались в этих спорах – так, будто целое десятилетие было незначительным побочным эпизодом. Таким образом, любое линейное изложение непрерывной истории репрессий лишается всякого контекста. Неким неопределенным фоном предстают все споры по ключевым вопросам как в области внешней политики (отношение к революции в Китае, к росту нацизма, войне в Испании), так и внутренней (троцкистская и бухаринская оппозиция насильственной коллективизации, экономические и социальные альтернативы, инспирированные различными подходами к коммунизму).

#### ***Контрреволюция и Реставрация***

Кое-кому может показаться не слишком правильным описывать происходившее в те годы как контрреволюцию, так как реставрации дореволюционного режима не последовало. Однако историю нельзя прокрутить обратно, как пленку.

После термидора консервативный идеолог и всезнающий эксперт в области реакции Жозеф де Местр сделал меткое замечание: контрре-

волюция не есть революция, развернутая вспять, это скорее явление обратное революции. Они не симметричны друг другу. Поэтому контрреволюция может породить нечто новое и беспрецедентное. Так случилось в Германии при Бисмарке вслед за поражением революций 1848 года. Сходным образом термидор не восстановил французскую абсолютную монархию. Время после термидора во Французской Империи – это продолжительная серая зона, когда происходило непрерывное перетекание, перерождение революционных устремлений и консолидировался новый порядок.

Многие коммунисты-активисты потеряли ориентиры как раз в такой серой зоне. Их очень воодушевляли достижения «социалистического отечества» и они либо не знали, либо не в состоянии были понять, что происходило в СССР, где развернулся сталинский террор. Есть свидетельство Виктора Сержа и Анте Силиги, контртрибунал, организованный Джоном Джи, рассказы о сопротивлении репрессиям в отношении анархистов и POUM в Испании. Но в те дни антифашистской борьбы и «бюрократизированного героизма» (по заимствованному у Исаака Дойчера выражению) было зачастую сложно бороться одновременно против главного врага и против другого, едва ли второстепенного, который подтачивал изнутри.

СССР при Сталине совсем не был похож на СССР периода брежневского застоя. Вся страна, с ног до головы, преобразалась под кнутом предприимчивой бюрократии. Секрет этой энергии был сродни той, что произвела такое впечатление на Шатобриана в наполеоновской Франции: «Если коммунике Бонапарта, его речи и прокламации выделяются своей энергичностью, то эта энергия ни в коей мере не принадлежит ему одному. Скорее, она принадлежит самому времени и происходит от революционного воодушевления, что остыло в груди Бонапарта, так как он шел в противоположном ей направлении». Причем это не единственная поразительная аналогия между двумя историческими фигурами: «Революция, породившая Наполеона, вскоре стала для него врагом, с которым он сражался при каждой возможности».

Ни одна страна в мире никогда не проходила через такую жестокую метаморфозу, как СССР в 30-е годы под гигантским весом поистине фараонской бюрократии. С 1929 по 1939 год население городов увеличилось до 30 миллионов, с 18 до 33% населения. Только за время первой пятилетки население городов выросло на 44% (практически на столько же, на сколько за период между 1897 и 1926 годами). Численность наемных рабочих выросла более чем в два раза, с 10 до 22 миллионов. Это привело к «окрестьяниванию» городов, проведению массовой ликвидации неграмотности, распространению образования и жесткому применению трудовой дисциплины.

Великие преобразования шли в ногу с националистским возрождением, нарастанием карьеризма и появлением новой разновидности бюрократического конформизма. Моше Левин с иронией говорил о советском «зыбучем обществе» гаргантюанских размеров. Оно было в некотором роде бесклассовым: «На некоторое время, пока пыль не

уляжется, все общество стало бесклассовым, кто-то пониже, кто-то повыше».

Михаил Гефтер поднимает важный вопрос, был ли безостановочным перегон между Октябрем и ГУЛАГом, или же это были два различных «в моральном и политическом отношении» мира. Анализ сталинской контрреволюции дает ясный ответ. Периодизация русской революции и контрреволюции – не просто исторический курьез. Из нее вытекает целый ряд политических позиций, направлений и задач.

До начала контрреволюции можно было говорить об ошибках и надеяться на их исправление, о течениях внутри общего проекта. Однако, впоследствии действующие силы и проект явно противостоят друг другу, настает пора решительного организационного размежевания.

Чтобы не возникло непонимания, требуется подчеркнуть, что мы не говорим здесь о семейной склоке и выскивании жертв минувших лет после драки, доказывая существование своеобразного «коммунистического плюрализма», призванного каким-то образом объединить палачей и жертв. Четкую периодизацию мы скорее рассматриваем как способ, по выражению Гефтера, позволить «исторической совести пробиться в сферу политики».

#### **«Преждевременная» революция?**

После распада СССР значительно усилилась одна из линий аргументации. Согласно ее сторонникам, революция была преждевременна и обречена на поражение с самого начала.

Лидер французской социалистической партии Анри Вебер защищает эту позицию в передовице «Монд» от 14 ноября 1997 года. Такой аргумент, конечно, вряд ли можно назвать новым, он восходит к речам российских меньшевиков, а с 1921 года его можно обнаружить в анализе событий Каутским. Он пишет, что большей части кровопролития, слез и разрухи можно было бы избежать, «если бы большевикам удалось проникнуться умением меньшевиков ограничиваться достижимым. Это качество истинного вождя».

Поистине красноречивая формулировка. Каутский яростно выступал против идеи партии как авангарда, однако его не страшит позиция партии в качестве всезнающего наставника и господина, который способен организовывать ход и темп истории по своему вкусу. Будто борьба и революция не имеют собственной логики!

Поддержка установленного порядка обычно становится результатом любого поиска «самоограничения», когда возникает возможность для борьбы и революции. Ибо очень скоро из «самоограничения» целей партии оно перерастает в простое накладывание узды на стремления масс. В этом отношении такие социал-демократы как Эберт и Носке показали себя весьма способными к «самоограничению», когда убили Розу Люксембург и раздавили Советы в Баварии. Захват власти в Октябре 1917 года произошел из-за неспособности буржуазных либе-



ралов и реформистов предложить решения в обстановке государственного и общественного кризиса.

Ответ М. Гефтера на вопрос «Был ли какой-либо выбор в 1917-м?» в тысячу раз более убедителен, чем тезис о «преждевременности». «Как человек, много думавший об этом, позволю себе высказаться решительно: выбора не было. Свершившееся тогда – единственное, что противостояло неизмеримо большей кровавой потасовке, развалу без смысла. Выбор – позже. Не исторического пути, а уже внутри «пути». Больше, чем варианты, иное, чем ступеньки, сами ведущие – вверх от первой. Развилка. Развилки».

Эти развилки были, действительно, многочисленны, и каждый раз вокруг выбора пути разгорались споры: как в 1923 году, во время Октябрьского восстания в Германии, или по вопросам о НЭПе и экономической политике, о насильственной коллективизации, о демократии внутри партии и в стране в целом, о росте фашизма, о войне в Испании и о советско-германском пакте. В каждом из этих испытаний непримиримо сталкивались различные предложения, программы и направления – это несомненное доказательство, что другие пути существовали, что события могли пойти по множеству путей.

Собственно говоря, тезис о «преждевременности» неизбежно работает на представление об истории как о хорошо отлаженных часах, где все происходит в назначенный час и ни минутой раньше. Такой подход вызывает к жизни набившие оскомину возражения против непререкаемого исторического детерминизма, в котором столь часто упрекают марксистов.

Базис, гласит изъезженный рефрен, жестко предопределяет то, что происходит в надстройке. Однако упускается из внимания тот факт, что история – не паровоз, который движется по проложенным рельсам. Скорее история вынуждена постоянно выбирать из целого спектра возможностей – разумеется, не все они осуществимы, но на больших развилках бывает довольно много вариантов.

Теперь, спустя более чем 80 лет, авторы «Черной книги» пытаются создать у читателя впечатление, что большевики, окрыленные невероятно удачным захватом власти в Октябре, не останавливались ни перед чем ради удержания этой власти. Но такое прочтение игнорирует тот факт, что большевики никогда не рассматривали революцию в России как отдельно стоящее событие, считая ее скорее первой стадией общеевропейской и мировой революции.

Говорят, Ленин танцевал на снегу на 73-й день после захвата власти. Первоначально он не надеялся, что революции удастся продержаться дольше, чем Парижской Коммуне. В его глазах само будущее революции зависело от того, как она будет развиваться в Европе, в частности – в Германии.

События, потрясшие Германию, Италию, Австрию и Венгрию между 1918 и 1923 годами, выявляют истинно общеевропейскую природу кризиса. Не было ничего предопределенного в поражении революции в Германии и антифашистов в гражданской войне в Испании, повороте событий в Китае или победе фашизма в Италии и Германии. Ко-

нечно, русских коммунистов нельзя винить в нерешительности и трусости французских и немецких социал-демократов.

Начиная с 1923 года большевикам стало ясно, что на быстрое распространение революционного движения в Европу рассчитывать не приходится. Настало время для радикальной переориентации. На таком фоне развернулась серьезная конфронтация между сторонниками возможности построения социализма в отдельно взятой стране и сторонниками «перманентной революции» – конфронтация, раздиравшая партию в середине 1920-х.

Есть сегодня такие, кто, не подвергая сомнению законность Русской революции, приходят, тем не менее, к выводу, что она была основана на неверном прогнозе и рискованной игре. Но тогда и речи не шло о «прогнозе»; революция, скорее, была частью общей тенденции – уничтожения оснований Первой мировой войны путем опрокидывания системы, эту войну породившей.

В Европе действительно прокатилась, по следам войны, революционная волна между 1918 и 1923 годами. Но после поражения революции в Германии ситуация явно стабилизировалась.

Каковы были возможные варианты дальнейшего развития событий? Не стоило ли выждать, не питая иллюзий о возможности «построить социализм в одной отдельно взятой стране» – тем более стране, которая лежала в руинах?

Вокруг этого и шли споры в 20-е годы.

На экономическом и социальном уровнях задачи решались частично через НЭП. Однако для того, чтобы проводить НЭП грамотно, стране требовалось значительно больше квалифицированных и культурных специалистов, чем имелось вследствие применения произвольных методов военного коммунизма.

Политически же требовалось развивать демократическую ориентацию, нацеленную на обеспечение законного правления большинства – путем выборов, проводимых в условиях плюрализма в советах. На международном уровне требовалось проведение такой политики, которая бы не подчиняла через Коминтерн политику различных компартий интересам страны Советов. Увы, уравновешенной дискуссии о том, каким путем двигаться дальше, так и не состоялось, необходимый обмен мнениями был замещен безжалостной конфронтацией.

Побежденные в этой борьбе не были неправы. Вести подсчеты жертв революции несложно, куда сложнее определить насколько серьезны и зловещи последствия неудавшейся или задавленной революции. Кто может отрицать тесную связь между неосуществившейся немецкой революцией 1918-1923 годов и поражением революции в Испании в 1937-м, или, с другой стороны, между победой нацизма и катастрофой Второй мировой войны?

Для того, чтобы действительно определить, на ком лежит груз ответственности и представить периодизацию истории в контексте политических альтернатив, существовавших в тот или иной ключевой момент истории, следует задаваться именно этими вопросами.

Говорить же о «преждевременности» революции – значит браться за задачу противоположного свойства, произносить приговор в суде

истории вместо того, чтобы разбираться во внутренней логике конфликта и сталкивавшихся направлениях политики.

В конце концов, поражения настолько же не являются доказательством ошибочности избранного пути, насколько победы не являются доказательством его верности.

История не выносит окончательных приговоров. Поэтому очень важна способность выявить альтернативный путь, по которому могла бы пойти история, - внимательно проследив его, шаг за шагом, через все ключевые моменты, повлекшие за собой тот или иной выбор, когда дорога раздваивалась. Такой подход позволяет постигать историю и извлекать из нее уроки на будущее.

Никто не способен стереть из истории событие, которое за десять дней потрясло весь мир. Обещание свободы, равенства и братства, прозвучавшее в негасимом пламени этого события, слишком «сплетено с интересами человечества», чтобы оказаться стертым из его памяти. Нам в наследство перешло достояние, которое мы должны передать дальше. Поэтому наша задача - обеспечить «благоприятные случаи», чтобы это наследие приходило «на память народам других стран» и вдохновляло их «на повторение» (И. Кант).

## **БОЛЬШЕВИЗМ И СТАЛИНИЗМ. СУДЬБА РЕВОЛЮЦИИ В 20 ВЕКЕ**

*Статья предлагает критическое переосмысление известной брошюры Льва Троцкого «Сталинизм и большевизм» и была написана для итальянского журнала «Егге», октябрь 2005.*

Мода пошла от библейских преданий и генеалогий: Гегель породил Маркса, который породил Ленина, который породил Сталина... Самые эрудированные докапываются аж до Святого Павла или Платона. В этом самопорождении понятия исчезает реальная история и её социальная ткань. Мировые потрясения произошли по «вине Руссо» или «вине Платона». И так, согласно установленной родословной, сталинская диктатура предстает логическим продолжением и законным наследником Октябрьской революции, её механическим и неизбежным следствием.

Подхваченная в угоду прихотям моды «историками» «Черной книги коммунизма» и раскаявшимися сталинистами Анни Кригель или Франсуа Фюре, песенка эта, представляющая сталинизм в виде естественного и полноправного отпрыска большевизма, вовсе не нова. В 1937 году, когда Троцкий писал «Сталинизм и большевизм», «вся реакция, сам Сталин, меньшевики, анархисты и некоторые левые доктринеры, считающие себя марксистами», говорили то же самое. Этому линейному и фаталистическому представлению об истории не ведомы ни скачки, ни разрывы, ни раздумья на перепутье. Это всего лишь новое издание теодицеи духа: ход вещей заложен в первоначальной идее, правящей миром. Так безоглядное отождествление большевизма Октября и большевизма советского государства подмывает исторический процесс борьбы классов в международном масштабе простой «эволюцией большевизма в безвоздушном пространстве».

Когда Троцкий, пребывая в изгнании на Койоакане, констатировал такое положение дел, времена были сумрачными. Предсказанная в будущем война бросала тень на настоящее [1]. После второго московского процесса последовал процесс Тухачевского и генералов. Сталинистами была раздавлена барселонская коммуна. Подтвердилась новость об убийстве Андреса Нина.

В апреле бывший организатор Красной армии принимает у себя комиссию, возглавляемую философом Джоном Дьюи, с целью изобличить ложь сталинских процессов. Отныне он занят сбором документов для досье «сталинской школы фальсификаций». Для него эта борьба была такой же важной, как дни восстания или гражданская война. Речь идет, ни много, ни мало, о том, чтобы спасти память, которой угрожают небытием вранье и фальсификации, подобно подретушированным официальным фотографиям, на которых неожиданно исчезают исторические персоны [2]. После года работы, на конференции в Нью-Йорке 14 сентября 1937 года комиссия делает достоянием общественности выводы своего расследования, собранного в книге объемом в семьсот страниц. Московские процессы признаются «сфальсифицированными», Троцкий и Седов (его сын) признаются «невинными».

ми». Узнав об этой новости, Троцкий воскликнет: «Всего две строки! Но таких тяжеловесных строк не много в библиотеке человечества». Из этой реакции понятно, насколько важна для него была борьба за память, ибо фальсификации вполне могли подменить в итоге историческую правду. Отныне маски были сорваны. Это была немалая победа жертв Сталина, чисток, Гулага.

#### ***Противоположность революции***

Но в 1937 году никто не мог знать, где замкнется трагическая спираль «больших политических поражений», которые, как пишет Троцкий в первых же строках брошюры, «вызывают неизбежно переоценку, которая, в общем, совершается в двух направлениях»: обогашение опытом или возвращение вспять под предлогом поиска «новых истин».

Победа нацизма в Германии, поражение испанской революции, подъем бюрократической реакции в Советском Союзе требовали в середине тридцатых годов критического изучения теоретического и морального наследия. Сегодня развязка «короткого двадцатого века», развал так называемого социалистического лагеря, неолиберальная контрреформа, начавшаяся в 80-х, требуют ещё более серьезной проверки нашего сознания.

Но такая работа над собой не происходит на пустом месте. Для неё могут оказаться вполне полезными вчерашние споры и борьба. В самом деле, если падение берлинской стены и развал СССР символически знаменуют конец исторического цикла, начавшегося с Мировой войны 1914-18 гг. и Октябрьской революции, то крах больших надежд на освобождение не датируется 1989 или 1991 годами. В это время произошла вторичная смерть. Ибо революция уже давным-давно была поглощена нескончаемым Термидором.

Собственно, с каких пор? В этом весь вопрос. Спорный, противоречивый вопрос. Большое число искренних коммунистических активистов упорно отрицают факт бюрократической контрреволюции на том основании, что не могут найти Событие строго симметричное Октябрю, прямо противоположную сторону процесса, рожденного революцией, точную дату поворота вспять.

На самом деле это иллюзорный поиск. Более проницательный идеолог-реакционер Жозеф де Местр на следующий день после Французской революции осознал, что контрреволюция это не «революция в противоположном направлении», но «противоположность революции» — ползучая, асимметричная, поступательная, иногда замирающая реакция.

Вот почему аналогия с Термидором, которую использовали в Советском Союзе в 20-х годах оппозиционеры, была, возможно, еще более уместна, чем они могли вообразить: реакция, которая не есть поворот вспять, к прошлому, а изобретение невиданных исторических форм.

В 1937 году Троцкий был убежден, что бюрократическая контрреволюция победила. Об этом свидетельствовала и катастрофическая политика Коминтерна в ответ на подъем нацизма и в связи с испанской гражданской войной, но ещё более явным подтверждением краха стала неспособность контрреволюции вынести иные уроки из этих крушений, кроме шатания между сектантским расколом «третьего периода» и подчинения буржуазным институтам и союзникам в рамках Народных фронтов.

В самом Советском Союзе насильственная коллективизация вызвала голод и массовую депортацию 1932–33 гг. Закон от первого декабря 1934 года развязал руки большому террору и чисткам 1936–38 гг., число жертв которых оценивается в 690 тыс. Вместе с подавлением народных городских и крестьянских движений этот бюрократический террор смел остатки наследия Октября, серьёзно опустошив партийные и армейские ряды.

Большинство лидеров революционного периода были высланы или уничтожены. Из 1900 делегатов «съезда победителей» 1934 года более чем половина была расстреляна на протяжении нескольких месяцев. Из двухсот членов ЦК украинской компартии в живых осталось только трое. В армии аресты коснулись более 30 тыс. военных из 178 тыс.

Тем временем невероятно разросся чиновничий аппарат, необходимый для работы репрессивной машины и для руководства экономикой после её жестокого огосударствления. Согласно архивам, изученным историком Моше Левином, административный персонал вырос от 1 млн. 450 тыс. в 1928 г. до 7 млн. 500 тыс. в 1939 г., общее число белых воротничков увеличилось от 3 млн. 900 тыс. до 13 млн. 800 тыс. Таким образом, бюрократия становится настоящей социальной силой со своими собственными интересами.

### ***Бюрократический термидор***

Тем не менее, в 30-е годы коммунистическим активистам, смотревшим на Советский Союз как на самый мощный оплот против нацизма, активистам, пережившим тяжелейшую борьбу периода «класса против класса» или героическую эпопею интернациональных бригад в Испании, было непросто принять этот анализ. В отличие от социал-демократии, бюрократическое вырождение которой происходило в форме парламентского обуржуазивания, бюрократическое вырождение Коминтерна было прикрыто риторикой «защиты Советского Союза». Исаак Дойчер метко называет эту эпоху временем «бюрократизированного героизма», которое с огромной горечью описывали Анна Ларина-Бухарина, Виктор Серж, Ян Вальтин, Александр Зимин и многие другие.

Однако такие разные авторы, как Вальтер Беньямин (в беседах с Брехтом) или Ханна Арендт (в «Истоках тоталитаризма»), каждый по-своему сохранили те же исторические акценты. Эти суждения во

многим подтвердились недавними историческими работами, например, исследованиями Моше Левина, Эрика Хобсбаума или Пьера Бруэ, которые воспользовались свободным доступом к советским архивам (см. в частности «Советское столетие» Моше Левина). За одно десятилетие, в 30-е годы, советское общество неизмеримо изменилось под бюрократическим кнутом. Никакая другая страна в мире не пережила настолько стремительной перестройки, проведенной железным кулаком автократической бюрократии.

Относительно недавние воспоминания о брежневском застое или черненко-ской старческой дряхлости ассоциируются с недвижимым консерватизмом, тогда как восходящая бюрократия была, наоборот, довольно динамичной и предприимчивой. В период с 1926 по 1930 гг. городское население увеличилось на 30 млн. жителей. Численность горожан выросла с 18% до 33% от всего населения страны. За первую пятилетку их рост составил 44% – столько же, сколько за весь период от 1897 до 1926 гг. Число наемных работников выросло от 10 до 22 млн.

Все это привело к массовому оседанию сельских жителей в городах, ставших громадной площадкой для обучения грамоте и образования, форсированного внедрения трудовой дисциплины, патриотической экзальтации и карьерных выгод, становления нового бюрократического конформизма. В этой дикой сумятице, иронизирует Моше Левин, общество чуть было не стало «бесклассовым» – не потому, что классовые отношения сошли на нет, а потому, что все классы стали «бесформенными и смешались друг с другом».

Дело было не в личном соперничестве, от которого сегодня без ума наши масс-медиа: происходящее было не следствием «матча между Сталиным и Троцким», а следствием «антагонизма между бюрократией и пролетариатом», столкновением «двух миров, двух программ, двух моралей», выразившимся в стратегических противоречиях по поводу китайской революции, по поводу способов борьбы с фашизмом, советской экономики, гражданской войны в Испании, грядущей войны с Гитлером..

Для описания процесса бюрократической контрреволюции Троцкий и левая оппозиция широко использовали аналогию с Термидором. Тем самым они хотели напомнить, что Термидор был не Реставрацией, не возвратом к Старому режиму, а контрреволюцией в революции: возникшая в итоге Империя оказалась некой серой зоной, в которой революционные чаяния сосуществовали с укрепляющимся господством нового класса.

«Замогильные записки» Шатобриана прекрасно подтверждают проницательность этой аналогии. В Сталине мы находим характерные черты термидорианского выскочки, нечто вроде посредственного Наполеона. Оба поднялись на отлив революции, на подавлении первых освободительных порывов, даже если, вопреки самим себе, отчасти являлись их носителями: «Не стану спорить: Бонапарт, наследник республиканских триумфов, насаждал повсюду принципы независимости; победы его ослабляли узы, связующие королей и народы, освобождали эти народы из-под власти древних нравов и старых идей, и

в этом отношении Бонапарт внес свою лепту в освобождение общества; но с тем, что он сознательно, по доброй воле стремился дать нациям политическую и общественную свободу, с тем, что он подчинил Европу, и в особенности Францию, своей деспотической воле только ради того, чтобы одарить их либеральнейшей конституцией, с тем, что он лишь перерядился в тирана, а в глубине души всегда оставался трибуном, – со всем этим я никак не могу согласиться... Революция вскормила Наполеона, но очень скоро он возненавидел свою приемную мать; всю жизнь он без устали сражался с нею» [3]. Также как и Наполеон, Сталин мог бы сказать: «Я предотвратил ужасный дух новизны, который распространялся миром».

Итак, Термидор не был Реставрацией. Но Реставрация последовала за Термидором, как в России либеральная Реставрация пришла на смену бюрократическому Термидору. Сама же Реставрация, мрачная эпоха, поставившая под запрет имена Робеспьера, Марата, Сен-Жюста длилась не очень долго.

#### ***(Первородный) грех этатизма?***

В своей брошюре Троцкий выступает с критикой анархистского тезиса, согласно которому аватары сталинизма происходят из самого изъяна этатизма, как элемента марксистской программы. Однако достаточно перечитать критику Маркса и Энгельса Готской и Эрфуртской программ или же «Государство и революцию», наскоро написанную Лениным в разгар революционных событий, чтобы констатировать: проблема не в теории, а в совершенно конкретных социальных противоречиях.

Да и нужно ли напоминать, что Маркс вел полемику на два фронта: против иллюзий социальной борьбы, приводящих к анархистскому непониманию борьбы политической, и против государственнического социализма Лассалья.

И если Маркс оппонировал бакунинскому абстрактному отрицанию Государства и какой-либо власти, то лишь противопоставляя последнему «отмирание» или «угасание» государства как политического – отделенного и фетишизированного – организма, настаивая на исторических условиях такого отмирания. Вопрос не в том, чтобы провозгласить отмену государства, а в том, чтобы подготовить условия для его отмирания: серьёзное сокращение принудительного рабочего времени, обобществление административных функций, радикальное изменение социального разделения труда, отношения между городом и деревней и т.д. Всё это не делается за один день с помощью волшебной палочки: захват власти – это действие, событие, момент решения и истины; это всего лишь средство и начало процесса перманентной революции. Другой аспект полемики с Бакуниным, о котором довольно часто забывают, касается демократии: отказ от какой-либо власти – в том числе от власти решений большинства – во имя свободы индивида или действующих меньшинств



предполагает, в конечном счете, отказ от любого демократического принуждения [4].

Что касается Ленина, то его работа «Государство и революция» написана в либертарно-коммунистической тональности, в ней делается упор на разрушении старой бюрократической государственной машины и всех возникающих формах самоэмансипации. Троцкий напоминает, что в этой же самой перспективе Ленин предполагал оставить анархистам некоторые территории, дабы те проводили там свои коммунистические опыты.

Если и была какая-либо теоретическая ошибка, то она заключалась скорее в либертарных перегибах этого текста, в его оптимизме по поводу темпов отмирания политических и юридических институтов. Конечно, такой взгляд предполагал широкое распространение революции в Европе, но он выводил от осмысления институциональных и юридических форм, необходимых для переходного периода. Так, главные документы четырех первых конгрессов Коминтерна или дискуссия 1921 года о профсоюзах свидетельствуют о недостаточно проясненных отношениях между государством, советами, партиями, профсоюзами.

Напоминая о «полном согласии» с анархистами «по поводу конечной цели ликвидации государства», Троцкий учитывает уроки этого опыта, обогащенного опытом гражданской войны и вхождением самих анархистов в правительство Ларго Кабальеро осенью 1936 года: «Победу эту нельзя, к тому же, представлять себе в виде единовременного акта. Надо брать вопрос в перспективе большой эпохи». То есть, если «совершенно неоспоримо», что «господство одной партии юридически послужило исходным пунктом для сталинской тоталитарной системы... то причина такого развития» не единственно самому большевизму и «выводить сталинизм из большевизма, или из марксизма, совершенно то же, что, в более широком смысле, вывести контрреволюцию из революции».

В свою очередь концепция партии и ее авангардная роль в 1937 году все еще остаётся под вопросом. Троцкий напоминает, что «запрещение других советских партий ни в коем случае не вытекало из "теории" большевизма», а явилось мерой обороны революции, которая, хотя и «заклучала в себе неимоверную опасность», была введена, чтобы защитить революцию в ситуации гражданской войны.

И всё же проблема остаётся: победа в этой внутренней войне против белых и их международных союзников закончилась в 1921 году Новой Экономической Политикой, целью которой было поставить на ноги истощенную страну; этой политике не сопутствовала демократическая открытость на политическом уровне – открытость тем более необходимая, что «культура войны» была котлом бюрократической жестокости, которая открылась для Ленина в последние месяцы его активной жизни, в том числе, в связи с национальным вопросом [5].

В платформе объединенной оппозиции 1927 года вопрос о многопартийности не возникает. А вот в 1935 году, уже осознав все последствия, Троцкий в «Преданной революции» возводит плюрализм

в принцип, поясняя главные причины: «Классы не однородны, раздираются внутренними антагонизмами и даже к разрешению общих задач приходят не иначе, как через внутреннюю борьбу тенденций, группировок и партий». Тем самым он четко порывает с иллюзией об однородности народа или класса, которая преследовала революционное движение, начиная с Французской революции. Он присоединяется к историческому предостережению Розы Люксембург, высказанному в 1918 году: «Без всеобщих выборов, без свободы прессы и неограниченных собраний, без борьбы свободных мнений во всех общественных учреждениях жизнь чахнет, влачит жалкое существование, а единственным активным элементом остается бюрократия».

Высказывания по поводу роли партии остаются, однако, довольно неоднозначными: «Пролетариат не может прийти к власти иначе, как в лице своего авангарда [...] пролетарская революция и диктатура [пролетариата] являются делом всего класса, но не иначе, как под руководством авангарда. Советы только организационная форма связи авангарда с классом. Революционное содержание этой форме может дать только партия». То, что до сего дня не известна ни одна победная революция без вмешательства революционной партии (как бы её не называли: движение, фронт и т.д.), это одно. То, что пролетариат может прийти к власти только посредством своего авангарда, это другое – если подразумевается, что он будет осуществлять власть через делегирование её своему авангарду. В этом случае речь идет о замещении, под видом органически адекватного представительства, класса партией.

Правдоподобность такой интерпретации усиливается следующей фразой. Если советы – «только организационная форма связи авангарда с классом», они есть не суверенные органы новой власти, призванной отмереть, а простой посредник между классом, занимающим подчиненное положение, и партией, воплощающей полноту его делегированного сознания. Тогда существует серьезный риск, что исключение, вызванное гражданской войной, превратится в правило, противоречащее задачам самоосвобождения.

### ***Преждевременная революция?***

Троцкий тоже обороняется на двух фронтах: оппонируя меньшевистскому (и вообще реформистскому) тезису, согласно которому червь с самого начала сидел в плоде преждевременной революции, попытавшейся искусственно форсировать ход истории; и анархистскому тезису, согласно которому бюрократическое вырождение произошло из исходного «государственного социализма».

Для первых, как и для Каутского, в России ещё не созрели условия для социалистической революции. Так же и для Франсуа Фюре нетерпение и «революционная страсть» взяли верх над историческим разумом. А бюрократический тоталитаризм оказался всего лишь предсказуемой расплатой за этот первородный грех. Такая риторика события, которое случается лишь в отведённое время, час в час,

ни раньше, ни позже, вписывается в детерминистскую логику смысла истории, в детерминистское представление о прогрессе и о линейном времени.

Так что Русская революция с самого Октябрьского восстания была обречена на вырождение из-за «преждевременных» родов истории, поскольку «объективные условия» преодоления капитализма ещё не созрели: и вместо того, чтобы мудро ограничить свои амбиции, большевистские руководители стали злыми гениями этой фатальной неудачи. Как будто между июлем и октябрём 1917 года, когда ещё продолжалась война, речь шла о рациональном выборе верного исторического ритма, о взвешенном предпочтении учтвого парламентаризма британского типа диктатуре пролетариата, а не об отчаянном противостоянии между революцией и контрреволюцией.

Моше Левин, как и Троцкий в «Истории русской революции», напоминает о том, что кадеты, меньшевики и весь демократический центр оказались тогда раздавленными силой противоречий, с которыми не мог справиться никто. Любой кризис ставит вас перед выбором. В 1917 году банкротство Керенского, Миллюкова, Церетели привело к противостоянию двух сил – корниловской реакции и большевистской революции. Такова была альтернатива. С революционной точки зрения, как пишет блестящий советский историк Михаил Гефтер, также пострадавший при сталинском режиме, «не было выбора»: «Как человек, много думавший об этом, позволю себе высказаться решительно: выбора не было. Свершившееся тогда – единственное, что противостояло неизмеримо большей кровавой потасовке, развалу без смысла. Выбор – позже. Не исторического пути, а уже внутри «пути». Больше, чем варианты, иное, чем ступеньки, сами ведущие – вверх от первой. Развилка. Развилки... [6]. Вилка, как сказал бы Бланки. И проблемы выбора, возникшие позже, вполне ясны. Это НЭП, прекращение гражданской войны, немецкая революция, насильственная коллективизация, борьба с нацизмом, китайская революция, испанская революция...

Самое худшее в доводах по поводу «истории с черепашим ходом», является то, что советники «двадцать пятого часа» оправдывают собственную трусость и пассивность, обвиняя в опрометчивости тех, кто принял вызов в той ситуации. Действительно, у большевиков было две возможности: либо революционная дерзость, либо разгром Белой реакцией. Но они придали этой дерзости стратегическую перспективу – европейскую и интернациональную, рассчитывая на скорое расширение революции в Германии и на Востоке, без которой, подчеркивает Троцкий, «большевизм будет уничтожен», а советский режим, «оставленный сам на себя, падет или выродится».

Послевоенные социальные конвульсии в Австрии, Венгрии, Италии, Германии свидетельствуют о том, что это были не безрассудные домыслы, а обоснованный стратегический расчёт. Только историки свершившегося факта и политики-фаталисты предполагают, будто не могло произойти ничего, кроме того, что произошло.

Отказывая реальной жизни в её многочисленных возможностях, они лишают политику какого-либо стратегического измерения, сводя её в лучшем случае к педагогической задаче, а чаще всего к беспомощному управленческому аккомпанементу «естественного» хода вещей, как будто история это тихая протяженная река, текущая – с некоторыми досадными заминками – в сторону неизбежного прогресса. В тезисах «О понятии истории» Вальтер Беньямин резко раскритиковал эту колыбельную многих философий истории, обоснованно возложив на неё часть ответственности за бездействие немецкого пролетариата перед лицом поднимающегося нацизма.

Парадокс этой риторики смирения, справедливо отмеченный Троцким, состоит в том, что она одновременно приписывает партии роль всемогущего полубога: с одной стороны, пассивный и объективистский материализм, с другой – субъективизм и идеализм.

Так большевизм становится паршивой овцой, виновной в целой исторической трагедии. Троцкий же напоминает, что, хотя партия является очень важным фактором борьбы, а в экстремальных обстоятельствах даже решающим фактором, тем не менее, революция это соединение множества причин и факторов. И «завоевание власти, как ни важно оно само по себе, вовсе не превращает партию в полновластного хозяина исторического процесса».

Вопреки распространённому мнению, теория это не детерминистская или телеологическая философия истории. Она старается осмыслить логику того или иного процесса и условия, которые могут привести либо к революции, либо к теологическому чуду, но она не обязана предвидеть сам ход истории, как классические физики предвидят механическое следствие первопричины. Грамши мудро говорил, что можно предвидеть только саму борьбу, а не ее исход, непредсказуемый по своей природе. И тем более не бывает «революции вовремя», революции, приходящей пунктуально в назначенный час.

Уже Энгельс в своем анализе революции и контрреволюции 1848 года в Германии, ставит вопрос о диалектике времени – «уже нет» или «еще нет»? Свободно критикуя некоторые аспекты Русской революции, в том числе, роспуск Учредительного собрания, Роза Люксембург пламенно поддерживала большевиков в том, что они «осмелились», поймали благоприятный момент («кайрос» древних греков), и сделали исторический выбор. Следует спрашивать с тех, кому не хватило смелости в тот решающий момент. Сегодня модно вменять революциям все катастрофы двадцатого века и подсчитывать их жертвы. Но кто назовет цену несбывшихся и преданных революций, взвесит ответственность тех, кто, не желая рисковать, отошел в сторону? Кто скажет, сколько стоили Германии и Европе последствия неудавшейся революции 1918–1923 гг.? [7]

### ***Морали истории***

Моралистам с их проповедями об «аморальности большевизма» Троцкий дал ответ в памфлете 1937 года: «Мораль каждой партии

вытекает, в последнем счете, из тех исторических интересов, которые она представляет». Но кто определяет и гарантирует эти интересы? Этот соблазн этического релятивизма часто интерпретировали как некую разновидность вульгарного макиавеллизма (или утилитаризма), согласно которому цель оправдывает любые средства. Год спустя, под впечатлением от встречи с Джоном Дьюи, Троцкий возвращается к вопросу в часто цитируемой, но мало читаемой и плохо понятой брошюре под названием «Их мораль и наша».

В вопросе о диалектике целей и средств Троцкий отстаивает тридевять земель от телеологического оправдания: «Допустим, в самом деле, что ни личная, ни социальная цели не могут оправдать средства. Тогда нужно, очевидно, искать других критериев, вне исторического общества и тех целей, которые выдвигаются его развитием. Где же? Раз не на земле, то на небесах... Без бога теория вечной морали никак обойтись не может... Сверх-классовая мораль неизбежно ведет к признанию особой субстанции, «морального чувства», «совести», как некоего абсолюта, который является, ничем иным, как философски-трусливым псевдонимом бога... Иезуитские теологи, которых, как и теологов других школ, занимал вопрос о личной ответственности, учили на самом деле, что средство, само по себе, может быть индифферентным, но что моральное оправдание или осуждение данного средства вытекает из цели... Воины церкви становились ее бюрократами и, как все бюрократы, – изрядными мошенниками». Есть и другая форма утилитаризма – Стюарт Милль с точки зрения морали оправдывает средства, если они служат общему благу. Так же и у наших нынешних сторонников этической или гуманитарной войны чистотой намерений (защита прав человека или гуманитарная интервенция) оправдываются более чем сомнительные средства, а этическим идеалом – чудовишный военный террор.

Что же оправдывает цель? – спрашивает в свою очередь Троцкий. На самом деле, если мораль не спускается с небес, если она вытекает из общественных отношений, «цель также нуждается в оправданиях». Порок состоит в формальном разделении цели и средств. То, что Ницше называл буржуазным «моралином», оказывается в логическом тупике. В отличие от читателей, спешащих по своим делам, Дьюи отлично понял доводы Троцкого о взаимозависимости целей и средств, потому и воздержался от обвинений в цинизме.

Если высшим критерием конкретной морали является, как утверждает Троцкий, даже не интересы пролетариата, а универсальное развитие культуры и сознания (пролетариат есть всего лишь особый посредник этого развития), иначе говоря, то, что освобождает именно человеческую сторону человечества от религиозного и социального отчуждения – в этом случае отнюдь не все средства позволены, даже революционеру-атеисту. Однако, возражает Дьюи, когда Троцкий, надеясь историзировать моральное суждение и устранить абстрактную трансценденцию, превращает борьбу классов в решающую категорию суждения о морали, не превращает ли он её тем самым, помимо своей воли, из одного средства среди других в высшую цель? Эта достойная дискуссия, к сожалению, был прервана

обстоятельствами, прежде чем, как Троцкий, собиравшейся продолжить её, смог это сделать.

Вопрос морали, как и вопрос о революции, предполагает вопрос о диалектике, поскольку, если сталинизм как будто бы «вырос» из большевизма, то «вырос не логически, а диалектически: не в порядке революционного утверждения, а в порядке термидорианского отрицания». В общем и целом, если за революциями следуют контрреволюции, то не в результате генеалогического наследования, а в результате непримиримого антагонистского противостояния. Забвение диалектики или же её показательное превращение в формальную логику государства (что и происходило в процессе сталинской реакции), не позволяет мыслить одновременно событие и его условия, революционный момент и процесс социально-культурной трансформации, историческую необходимость и политическую случайность, цели и средства, историю и память, реальное и возможное. Вот почему, как верно осознал Лукач, «истинно революционная мысль невозможна без диалектики», являющейся условием всякой стратегической мысли и стратегического – в противовес позитивистскому – представления об истории.

Перечитывая памфлет «Сталинизм и большевизм» в совершенно ином контексте, поражает актуальность этой полемики. На ключевой вопрос, снова поставленный полвека спустя Михаилом Гефтером – был ли «непрерывный переход от Октября до Гулага, или, напротив, речь идет о «двух различных политических и моральных мирах», изучение сталинской контрреволюции дает четкий ответ. До перелома, наступившего в тридцатые, еще можно говорить об исправлении ошибок, о разных путях в одном и том же направлении. После – речь идет об антагонистских силах и проектах, совершенно противоположных друг другу. Это уже не семейная ссора, позволяющая задним числом вернуть к жизни вчерашних жертв как исчезнувших свидетелей «коммунистического плюрализма» или собрать под одним знаменем зеков и их палачей. Как пишет Гефтер, четкая периодизация позволяет историческому сознанию «войти в область политики».

---

[1] Троцкий только что закончил 9 августа 1937 г. большую статью «Перед новой мировой войной».

[2] В этой связи см. книгу Дэвида Кинга «Комиссар исчез» (Paris, Calmann-Lévy, 2005), в которой прочерчивается история Советского Союза на примере сфабрикованных или подретушированных фотографий и образов.

[3] Шатобриан Ф.-Р. де. Замогильные записки. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. – С. 320.

[4] Это очень хорошо подметил Хол Дрейпер: «Karl Marx's Theory of the Revolution», том 4, «Critique of others socialisms».

[5] На эту тему см. дневники его секретарей, а также «Последнюю битву Ленина» Моше Левина.

[6] Михаил Гефтер, «Сталин умер вчера», напечатано в: «Из тех и этих лет»: [Сборник] / М. Я. Гефтер; М. : Прогресс, 1991. С. 248-249.

[7] См. книгу Пьера Бруэ «Немецкая революция» (Pierre Broué, *La Révolution allemande*).

**«СКАЧКИ! СКАЧКИ! СКАЧКИ!»: ЛЕНИН И ПОЛИТИКА**

Ханна Арендт была весьма обеспокоена тем, что политика может полностью уйти из нашего мира. В этом столетии произошло столько бедствий, что просто невозможно избежать вопроса – «имеет ли политика еще какой-либо смысл?» Причины такого беспокойства глубоко практические: «Бессмыслица, которой закончилась вся политика в целом, подтверждается тупиком, в который зашли особые политические вопросы» [1].

Для Арендт формой, которую приняло это ужасное исчезновение политики, стал тоталитаризм. Сегодня мы стоим перед другой опасностью – тоталитаризмом с человеческим лицом рыночного деспотизма. Политика оказывается раздавленной между якобы естественным порядком финансовых рынков и морализаторством капиталистического чревоущания. Конец политики и конец истории совпадают в inferнальном воспроизводстве вечности товара, резонирующей блеклыми голосами Фукуямы и Фюре: «Идея другого общества стала почти немислимой, и никто в современном мире не может предложить на эту тему ничего нового. И вот мы осуждены жить в том мире, в котором живем» [2]. Это даже не меланхолия, это отчаяние, как сказал бы Бланки, это вечность человечества с индексом Доу-Джонс и «100 организациями Справедливой Торговли».

Ханна Арендт считала, что может определить точную дату начала и конца политики: основанная Платоном и Аристотелем, она приобрела «завершенную форму в теориях Маркса» [3]. Провозглашая конец философии, Маркс, с некоторой диалектической усмешкой, заявил о конце политики. Это значит, что политику Маркса нельзя признать единственно возможной перед лицом капитализированного насилия и фетишизма современности: «Государство не пригодно для всеобщего», – писал он, четко выступая против «самонадеянного преувеличения политического фактора», превращающего бюрократическое государство в нечто абстрактно универсальное. Он не был одержим однобоко понятым социальным, а желал скорее появления политики угнетенных, начинающейся с негосударственных политических образований, которые готовят непереносимое отмирание государства как отдельного организма.

[Вопреки широко распространенному стереотипу, политика Маркса существует. Это, в первую очередь, политика события, войн и революций, а не политика институций. Политика Маркса связана с его эпохой – от июльской резни 1848 г. до «Кровавой недели» 1871. Достаточно просмотреть переписку и многочисленные статьи в прессе, чтобы убедиться в громадном количестве политических выступлений Маркса на самые разные темы: от работы английского парламента до национального вопроса в Ирландии; испанская революция, война Севера и Юга, формирование международного рабочего движения, свобода прессы.]



Насущный, жизненно важный вопрос – политика снизу, политика исключенных, тех, кто оторван от государственной политики правящего класса. Речь идет о разгадке тайны пролетарских революций и их повторяющихся трагедий: как из ничего является всё? Как может класс, раздавленный – физически и умственно – будничным рабством подневольного труда, превратиться в универсальный субъект человеческой эмансипации? Ответы Маркса связаны с социологическими ставками: промышленное развитие вызывает увеличение численности и концентрации трудящихся классов, что, в свою очередь, улучшает их организацию и повышает сознательность. Таким образом, сама логика капитала ведет к «превращению пролетариата в доминирующий класс».

Предисловие Ф. Энгельса к изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1890 г. подтверждает это предположение: «Что касается окончательной победы принципов, выдвинутых в «Манифесте», то здесь Маркс всецело полагается на интеллектуальное развитие рабочего класса, которое должно было явиться неизбежным плодом совместных действий и обмена мнений» [4]. Иллюзия, согласно которой завоевание права на всеобщее голосование позволило бы английскому пролетариату, представлявшему большинство общества, приладить политическое представительство к социальной реальности, следует из той же социологии. В том же духе Антонио Лабриола, комментируя «Манифест» в 1898-ом году, писал, что «желанный союз пролетариата и коммунистов – отныне свершившийся факт».

Судорожная история прошедшего века показывает, что не так-то просто освободиться от чарующего мира товара, от его кровожадных богов и навязчивого автоматизма. Несвоевременная актуальность Ленина происходит именно из этого факта. Если современная политика всё еще имеет шанс отвести двойную опасность натурализации экономики и фатализации истории, то этот шанс требует обновленного ленинского действия в условиях империалистической глобализации. Ленинская политическая мысль заключается в политике как стратегии, в благоприятных моментах и слабых звеньях.

«Единообразное и пустое» время механического прогресса, без кризисов и переломов – это время аполитичное. И поддержанная Каутским идея «пассивного накопления сил» вписывается в такое видение времени. Примитивная версия спокойной силы, «социализма вне времени», движущегося со скоростью черепахи, растворяет неопределенность политической борьбы в провозглашенных законах исторической эволюции.

Ленин же, наоборот, мыслил политику как время, наполненное борьбой, время кризисов и коллапсов. Для него особенность политики была выражена в концепции революционного кризиса, который не является логическим продолжением «социального движения», а общим кризисом взаимоотношений между всеми классами общества. Такой кризис является «национальным кризисом». Он обнажает линии фронта, прежде скрытые мистической фантазмагорией товара. И только тогда, а вовсе не благодаря какому-то неизбежному истори-

ческому созреванию, пролетариат может преобразоваться и «стать самим собой».

Следовательно, революционный кризис и политическая борьба тесно связаны. Для Ленина возможное знание рабочего класса о себе самом неразрывно связано с точным знанием о взаимоотношениях классов современного общества, знанием не только теоретическим, но и, мы бы сказали, основанным на опыте политики. Именно в испытании практической политикой и приобретается знание о взаимоотношениях между классами. Оно делает «нашу революцию» «революцией всего народа».

Такой подход противоположен вульгарному пролетариату, сводящему политическое к социальному. Ленин категорически отказывается «смешивать проблему классов с проблемой партий». Классовая борьба не сводится к антагонизму между рабочим и его хозяином. Она сталкивает пролетариат со «всем классом капиталистов» на уровне воспроизводства капитала в целом, что анализируется в третьем томе «Капитала». И, кстати, вполне логично, что незавершенная глава о классах появляется как раз здесь, а не в первом томе о процессе производства или во втором о процессе обращения. Следовательно, революционная социал-демократия как политическая партия представляет рабочий класс не только в его отношениях с группой работодателей, но и в отношениях со «всеми классами современного общества и с государством как с организованной политической силой» (Ленин).

Время «кайроса» ленинской стратегии является уже не временем электоральных Пенелопы и Данаи, чья работа всегда оказывается незавершенной, но временем, которое задает ритм борьбе и прерывается кризисом, – временем подходящего момента и стечения обстоятельств, временем, в котором связаны необходимость и случайность, действие и процесс, история и событие. «Мы не должны представлять революцию в форме единичного акта – революция будет быстрой последовательностью более или менее насильственных взрывов, сменяющихся фазами относительного затишья. Поэтому суть деятельности нашей партии, фокус ее деятельности может и должен быть направлен и на периоды насильственных взрывов и на периоды затишья, т.е. на общую политическую агитацию для всей России».

У революций свой собственный темп, то ускоряющийся, то тормозящий. У них собственная геометрия, в которой прямая линия расходуется в точках бифуркации и делает внезапные повороты. Тогда партия оказывается в новом свете. Для Ленина она более не является ни совокупным опытом, ни терпеливым учителем, воспитывающим пролетариев, выводящим их из тьмы невежества на свет разума. Она становится стратегическим оператором, некой коробкой передач и регулировщиком классовой борьбы. Вальтер Беньямин ясно осознавал, что стратегическое время политики не является гомогенным и пустым временем классической механики. Это сломанное время со множеством узлов, время, чреватое событиями.

Ленинская мысль, безусловно, формируется как сочетание преемственности и разрывов. Основные примеры разрывов (но разрывов не эпистемологических) можно видеть в 1902 г. («Что делать?» и «Шаг вперед») или в 1914–1916 гг., когда возникла необходимость переосмыслить империализм и государство в сумерках войны, вернувшись на тропу гегелевской логики. В тот же период, начиная с «Развития капитализма в России», Ленин заложит основы дальнейших последовательных теоретических поправок и стратегических установок.

Конфронтации, в ходе которых определился большевизм, стали проявлением революции в революции. Начиная с полемики «Что делать?» и «Шаг вперед, два шага назад», классические тексты в первую очередь сохраняют идею о необходимости централизованного и по-военному дисциплинированного авангарда. Но суть в другом. Ленин настаивает на том, что не нужно путать партию и класс (поскольку это грозит «дезорганизацией»). Различение этих двух понятий – предмет серьезного спора, охватившего тогда социалистическое движение, особенно в России. Это различие противостоит народническим, экономистским и меньшевистским течениям, порой объединяющимся для защиты «чистого социализма». За видимой непреклонностью подобной формальной ортодоксии стоит представление о том, что демократическая революция является обязательным этапом на пути исторической эволюции. А пока, ожидая собственного усиления и завоевания социального и электорального большинства, молодое движение рабочего класса должно оставить ведущую роль для буржуазии и довольствоваться действиями в поддержку капиталистической модернизации. Вера в заданность истории – всё приходит вовремя и к тому, кто умеет ждать, – лежит в основе ортодоксальной позиции Каутского во Втором Интернационале: мы должны терпеливо продвигаться вперед по «дороге к власти», пока власть сама, как созревший плод, не упадет нам в руки.

Для Ленина, наоборот, именно цель направляет движение, стратегия предшествует тактике, а политика истории. Поэтому надо размежеваться прежде, чем объединиться, а для того, чтобы объединиться – «использовать все и всякие проявления недовольства, собрать и подвергнуть обработке все крупницы хотя бы зародышевого протеста». Иными словами, воспринимать политическую борьбу как «более широкую и сложную, чем экономическая борьба рабочих против работодателей и правительства». Когда «Рабочее дело» выводит политические цели из экономической борьбы, Ленин его упрекает в «занижении уровня многосторонней политической активности пролетариата». Было бы иллюзией полагать, будто «чисто рабочее движение» способно самостоятельно выработать независимую идеологию. Само по себе спонтанное развитие рабочего движения, наоборот, ведет к «подчинению его буржуазной идеологии».

Ибо правящая идеология – это не вопрос манипуляции сознанием, а объективное следствие товарного фетишизма. Из его железных тисков и вынужденного рабства можно вырваться лишь с помощью

революционного кризиса и политической борьбы партий. В этом и заключается ленинский ответ на нерешенную загадку Маркса.

У Ленина всё подталкивает к мысли о политике как внезапном появлении, когда отсутствующее становится присутствующим: разделение на классы, конечно, является, в конечном счете, глубочайшим основанием для политического объединения, но этот крайний предел создается лишь политической борьбой. Таким образом, «коммунизм "вырастает" решительно из всех сторон общественной жизни, ростки его есть решительно повсюду... Если с особым тщанием "заткнуть" один из выходов, – "зараза" найдет себе другой выход, иногда самый неожиданный» [5]. Поэтому мы не знаем, «какая искра окажется в состоянии зажечь пожар».

Отсюда – лозунг, который, согласно Тухольскому, обобщает ленинскую политику: «Будьте готовы!» Готовы к невероятному, неожиданному, к событию! Если Ленин и мог определять политику как «концентрированное выражение экономики», то такая концентрация означает качественное изменение, в результате которого политика не может не «иметь примат над экономикой». С другой стороны, Бухарин, «ратуя за слияние политической и экономической точек зрения», «сползает в эклектику». Подобным же образом в 1921 г. в полемике с Рабочей оппозицией Ленин критикует это «убогое название», вновь сводящее политику к социальному и утверждающее, что управление национальной экономикой должно напрямую лежать на «производителях, сгруппированных в профессиональные союзы», что приведет классовую борьбу к конфронтации корпоративных интересов без синтеза.

Политика, наоборот, имеет собственный язык, грамматику и синтаксис. Свои вытеснения и оговорки. На политической арене преобразованная классовая борьба находит свое наиболее полное, наиболее суровое и наиболее определенное выражение в борьбе партий. Вырастающий из определённого регистра, несводимого к непосредственным определениям, политический дискурс связан скорее с алгеброй, чем с арифметикой. Его необходимость – необходимость иного порядка, «гораздо более сложного», чем социальные требования, напрямую связанные с отношениями эксплуатации. В противоположность тому, что представляют себе «вульгарные марксисты», политика «не следует покорно за экономикой». И идеалом революционного активиста является не тред-юнионист с узким горизонтом, а «народный трибун», раздувающий подрывные угли во всех сферах общества.

На «ленинизм» – или вернее сталинский «ленинизм», выстроенный как государственная ортодоксия – часто возлагают ответственность за бюрократический деспотизм. Считается, что понятие авангардной партии, отделенной от класса, содержит в себе зародыш подмены аппаратом реального социального движения, что ведет ко всем кругам бюрократического ада. Такое обвинение, сколь сомнительным оно бы ни было, ставит вполне реальный вопрос. Если политика не растворяется в социальном, то представительство одного другим

обязательно становится проблематичным – на чем тогда основывается его легитимность?

Для Ленина существует большой соблазн разрешить противоречия посредством предполагаемой возможности представителей адекватно представлять своих избирателей, что в итоге и приводит к отмиранию политического государства. Противоречия представительства не признают никакого *исключительного* посредника, они постоянно ставятся под вопрос благодаря множественности учредительных форм и тем самым устраняются. Однако, за этим аспектом есть риск забыть о другом, не менее важном, так как Ленин, кажется, не осознает в полном объеме важность собственного открытия. Думая, что он перефразирует канонический текст Каутского, он исказил его следующим кардинальным образом. Каутский писал, что «наука» приходит к пролетариям «извне классовой борьбы, передаваемая буржуазной интеллигенцией». Ленин изумительным образом переводит это так, что «классовое политическое сознание» (а не «наука»!) приходит «извне экономической борьбы» (а не извне классовой борьбы, являющейся такой же политической, как и социальной!), передаваемая уже не интеллектуалами, как социологической категорией, а партией, как агентом, особым образом структурирующим политическое поле. Разница весьма существенна.

Такое настойчивое использование языка политики, в котором социальная реальность проявляется посредством постоянной игры смещений и сжатий, логически должна привести к мысли о множественности и представительстве. Если партия – это не класс, то этот же класс должен быть политически представлен несколькими партиями, выражающими его внутренние различия и противоречия. Представительство социального в политике должно, следовательно, стать предметом тщательного институционального и юридического исследования. Ленин так далеко не заходит [6]. Подробное исследование о ленинских взглядах на национальный вопрос, о его позиции по профсоюзам в 1921 и о демократии в 1917 позволило бы нам проверить эту гипотезу, но выходило бы за рамки этой статьи. Как бы то ни было, Ленин открывает оригинальное политическое пространство и изучает возможные пути в нем.

Таким образом, он подчиняет представительство правилам, под сказанным Парижской Коммуной, стремившейся ограничить политическую профессионализацию: выбранные представители должны получать зарплату равную зарплате квалифицированного рабочего, необходима постоянная бдительность в том, что касается благ и привилегий для занимающих должности работников, а также ответственность избранных перед избирателями. В противоположность распространенному мифу, он не поддерживал идею об императивных мандатах. Речь шла о порядках в партии: «власть делегатов не должна быть ограничена императивными мандатами»; при исполнении власти «они полностью свободны и независимы»; конгресс или ассамблея суверенны. Так и на уровне государственных органов «право на отзыв депутата» нельзя путать с императивным мандатом, который бы свел представительство к корпоративной сумме частных интересов и узколо-

кальных точек зрения без всякой возможности синтеза, что лишило бы демократическое обсуждение его существа и его цели.

Что касается плюрализма, Ленин постоянно утверждал, что «борьба разных оттенков мнений» в партии неизбежна и даже необходима до тех пор, пока она происходит в границах, «одобренных общим соглашением». Он поддерживал идею, согласно которой необходимо обеспечить в уставе партии права всякого меньшинства, чтобы отводить постоянные и неустрашимые источники недовольства, раздражения и борьбы из обычных обывательских потоков ругани и дрызг в непривычные еще каналы оформленной и достойной борьбы за свои убеждения. К таким безусловным гарантиям мы относим предоставление меньшинству одной (или более) литературной группы с правом представительства на съездах и с полной «свободой языка». («Чего мы добиваемся»).

Если политика является делом выбора и решения, то она предполагает организованную множественность. Речь идет о принципах организации. Что касается системы организации, то она может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, при условии, что не теряются путеводные нити принципов в лабиринте возможностей. Тогда и пресловутая дисциплина в действии окажется не такой священной, как того желал бы позолоченный миф о ленинизме. Всем известна «недисциплинированность» Зиновьева и Каменева, которые выступали против восстания, но, тем не менее, в итоге остались на своих постах в партии. Сам Ленин, в чрезвычайных обстоятельствах, не колеблясь, отстаивал персональное право каждого на неподчинение партии. Так он рассматривал возможность ухода с постов, чтобы иметь возможность «свободы агитации» среди рядовых партийцев. В критический момент принятия важного решения он напрямую писал в ЦК: «Я отправился туда, куда бы вы не хотели, чтобы я ходил [в Смольный]. До свидания».

Его собственная логика подталкивала его к осмыслению плюрализма и представительства в стране, в которой отсутствовали парламентские и демократические традиции. Но Ленин не всегда следовал ей, и тому существует (по крайней мере) две причины. Во-первых, он унаследовал от Французской революции иллюзию, согласно которой в случае, если угнетатель свергнут, то объединение народа (или класса) – это вопрос времени: источником противоречий может быть либо чужак (например, иностранец), либо предатель. Во-вторых, различие между политикой и социальным не является гарантией против фатальной инверсии: вместо того, чтобы вести к социализации политического, диктатура может означать бюрократическую этатизацию социального. Разве сам Ленин не предсказывал угасание борьбы между партиями при советах? («Государство и революция»).

Согласно «Государству и революции», партии утрачивают свои функции, передавая их прямой демократии, демократии, которая уже не является отдельным государством. Но, вопреки первоначальным ожиданиям, огосударствление общества одержало победу над социализацией государственных функций. Поглощенные основными опасно-

стями - милитаристским окружением и капиталистической реставрацией - революционеры не замечают растущей у них под ногами не менее опасной бюрократической контрреволюции. Парадоксально, но слабые места Ленина связаны с его либертарными наклонностями в той же (и даже в большей) степени, сколь и с авторитарными искушениями. Между ними будто бы есть тайная связь.

*«Революционный кризис оказывается критическим моментом возможной развязки, когда теория становится стратегией: История вообще, история революций в частности, всегда богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов. Это и понятно, ибо самые лучшие авангарды выражают сознание, волю, страсть, фантазию десятков тысяч, а революцию осуществляют, в моменты особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой классов. Отсюда вытекают два очень важных практических вывода: первый, что революционный класс для осуществления своей задачи должен уметь овладеть всеми, без малейшего изъятия, формами или сторонами общественной деятельности; второй, что революционный класс должен быть готов к самой быстрой и неожиданной смене одной формы другою» [7].*

Отсюда Ленин выводит необходимость реакции на неожиданные события, в которых часто внезапно раскрывается доселе скрытая истина социальных отношений: «Мы не знаем и не можем знать, какая искра окажется в состоянии зажечь пожар, в смысле особого пробуждения масс, и мы обязаны поэтому с нашими новыми, коммунистическими принципами приняться за «обработку» всех и всяких, даже наиболее старых, затхлых и по-видимому безнадежных поприщ, ибо иначе мы не будем на высоте задачи, не будем всесторонни, не овладеем всеми видами оружия» [8].

Обрабатывать все и всякие поприща! Быть готовым к самым непредсказуемым решениям! К внезапному изменению форм! Уметь обращаться со всеми видами оружия!

Это - максимы политики, как искусства неожиданных событий и эффективных возможностей при определенном стечении обстоятельств.

Такая революция в политике возвращает нас к понятию революционного кризиса, систематизированному в «Крахе Второго Интернационала». Речь о ситуации, в которой взаимодействуют несколько переменных элементов: когда верхи не могут более управлять по-старому; когда низы более не терпят угнетения как раньше; и когда эта двойная невозможность выражается во внезапном брожении масс. Принимая эти критерии, Троцкий подчеркивает в своей «Истории русской революции»: «Взаимообусловленность этих предпосылок очевидна: чем решительнее и увереннее действует пролетариат, тем больше у него возможности увлечь за собой промежуточные слои, тем изолированнее господствующий класс, тем острее деморализация

в его среде. И обратно: распад правящих льет воду на мельницу революционного класса».

Но кризис не гарантирует условий собственного разрешения. Вот почему Ленин делает вмешательство революционной партии в критической ситуации решающим фактором: «Не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъективная, именно: присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно *сильные*, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят». («Крах Второго Интернационала»). Кризис может быть разрешен либо поражением, что обычно влечет за собой убийственную реакцию, – либо вмешательством решительного субъекта.

Именно в этом заключается интерпретация «ленинизма» в «Истории и классовом сознании» Лукача. Уже на Пятом конгрессе Коминтерна на его головы посыпались громы и молнии со стороны большевистствующих термидорианцев. Лукач же настаивал на том, что «лишь сознание пролетариата может указать путь, ведущий из тупика капитализма. До тех пор, пока этого сознания недостает, кризис остается перманентным, он возвращается к своей исходной точке и повторяется по замкнутому кругу». «Период решающих битв отличается от предшествующих периодов не только размахом и интенсивностью самих этих битв, – замечает Лукач, – но и тем, что это количественное увеличение выступает в качестве симптоматики глубоких качественных различий, которые отделяют эти битвы от прежних... Подобная «организация в класс» повторяется на все более высоком уровне до того момента, когда наступает период окончательного кризиса капитализма – эпоха, в которую его разрешение всё больше становится делом рук пролетариата». Эхо этой формулировки прозвучало в 1930-х, когда Троцкий – перед лицом нацизма и сталинской реакции – соотносил кризис человечества с кризисом революционного руководства.

Стратегия – это «подсчет массы, скорости и времени», – писал Шатобриан. Уже для Сунь-Цзы искусство войны было искусством изменений и скорости. Это искусство требовало «заячьей быстроты» и «мгновенного принятия решений», ибо доказано, что выдающаяся победа могла обернуться поражением, «если бы в битву вступили днем раньше или днем позже». Отсюда правило, подходящее как для политиков, так и для военных: «Не упускайте никакой возможности, если считаете ее благоприятной. Пять элементов существуют не везде и не встречаются в одинаково чистом виде; четыре времени года не проходят одинаково каждый год; восход и закат солнца не происходит постоянно в одних и тех же точках горизонта. Одни дни длиннее, другие короче. Луна убывает и прибывает и никогда не светит одинаково. Хорошо управляемая армия, как правило, всему этому удачно подражает».

Понятие революционного кризиса следует этому уроку стратегии и политизирует его. При определенных чрезвычайных обстоятельствах



равновесие сил достигает критической точки. «Любое нарушение ритмов приводит к конфликтным последствиям. Оно раздражает и беспокоит. Оно также создает провал во времени, чтобы наполнить его творчеством и новаторством. Это случается как с индивидуумами, так и с социумом лишь посредством прохождения через кризис» [9]. Провал во времени? Исключительный момент? Здесь и может возникнуть незавершенный факт, противоречащий фатальности завершенного.

В 1905 г. Ленин присоединяется к Сунь-Цзы в его похвале быстроте и находчивости. Необходимо, – говорит он, – «начать вовремя», действовать «незамедлительно»: «Немедленно формируйте везде боевые группы. Мы действительно должны суметь схватить на лету те самые «мимолетные мгновения», о которых говорил Гегель и которые являются блестящим определением диалектики». Ибо революция в России не является органическим результатом буржуазной революции, переросшей в пролетарскую революцию, но «переплетением» двух революций. Можно ли избежать катастрофы – зависит от обостренного чувства конъюнктуры. Искусство лозунга – это искусство благоприятного момента. Конкретные инструкции, действенные вчера, могут не работать сегодня, но, быть может, опять станут действенными завтра. «До 4 июля [1917] лозунг «Вся власть Советам!» был правильным». После – нет. «В этот момент и только в этот момент, возможно, на несколько дней или одну-две недели такое правительство могло бы выжить...»

Несколько дней! Неделя! 29 сентября 1917 г. Ленин пишет колеблющемуся ЦК: «Кризис назрел». Промедление преступлению подобно. 1 октября он убеждал их «взять власть немедленно», «перейти к восстанию немедленно». Через несколько дней он повторил попытки: «Я пишу эти строки 8 октября... Успех русской революции зависит от двух-трех дней борьбы». Он снова настаивает: «Я пишу эти строки вечером 24-го. Ситуация критическая. Сейчас абсолютно ясно, что промедление с восстанием будет фатальным... Всё висит на волоске». Поэтому необходимо действовать именно «этим вечером, этой ночью».

«Перерыв постепенности», – писал Ленин в начале войны на полях гегелевской «Науки логики». И подчеркивал: «Постепенность ничего не объясняет без скачков. Скачки! Скачки! Скачки!» [10].

\* \* \*

Еще три кратких замечания по поводу актуальности Ленина сегодня. Его стратегическая мысль наделяет государство способностью действовать по отношению к любому возможному событию. Но речь не идёт об абсолютном Событии, происходящем из ниоткуда – именно так воспринималось некоторыми 11 сентября 2001 года. Наше событие существует в условиях исторически обусловленной возможности. Это и отличает его от религиозного чуда. Таким образом, революционный кризис 1917 года и его разрешение посредством восстания

становится стратегически мыслимым в обстоятельствах, очерченных «Развитием капитализма в России». Это диалектическое взаимоотношение необходимости и случайности, структуры и разрыва, истории и события, закладывает возможность политики, организованной во времени, тогда как произвольная волюнтаристская ставка на внезапную вспышку *события* хоть и может помочь нам сопротивляться духу времени, но, в целом, приводит к позе эстетического сопротивления, а не к обязательству активиста терпеливо изменять ход вещей.

Для Ленина, как и для Троцкого, революционный кризис формируется и начинается на национальной арене, которая одновременно создает пространство борьбы за гегемонию и развивается, занимая своё место в контексте мировой революции. Кризис, при котором возникает двоевластие, следовательно, не сводится к экономическому кризису или непосредственному конфликту между трудом и капиталом в процессе производства. Ленинский вопрос: Кто возьмет верх? – вопрос политического лидерства: какой класс будет способен разрешить противоречия, раздирающие общество, заменить логику капиталистического накопления альтернативной логикой, преодолеть существующие отношения производства и открыть новое поле возможностей? Революционный кризис, следовательно, не есть простой социальный кризис, это также и национальный кризис: в России также как и в Германии, в Испании, в Китае. Сегодня этот вопрос, несомненно, стал еще сложнее, учитывая, что капиталистическая глобализация усиливает взаимоналожение национального, континентального и мирового пространств. Революционный кризис в крупной стране незамедлительно вызовет международные последствия и потребует ответа – как на национальном, так и на континентальном, и даже глобальном уровне – на вопросы, связанные с экологией, военной политикой, иммиграцией и т.д. И все же была бы иллюзией вера в то, что можно избежать этих трудностей, сняв вопрос о захвате политической власти (под тем предлогом, будто власть сегодня не привязана к территории и рассеяна повсюду и нигде) во имя риторических «контр-властей». Экономическая, военная и культурная власть, возможно, действительно более рассеяна, но она также и сконцентрирована сильнее, чем когда-либо. Вы можете притворяться, будто игнорируете власть, но она не станет вас игнорировать. Вы можете высокомерно отказываться от захвата власти, но опыт Каталонии, Чили, Чиангмая и т.д. показывает, что власть, не колеблясь, захватит вас самым жестоким образом. Одним словом, стратегия контр-власти имеет значение лишь в перспективе двоевластия и его разрешения. Кто возьмет верх?

И, наконец, хулители часто идентифицируют «ленинизм» и самого Ленина с исторической формой политической партии, которая якобы умерла вместе с крахом бюрократических партий-государств. В подобных поспешных суждениях слишком много исторического невежества и политического легкомыслия, которое лишь частично объясняется травматическими последствиями сталинизма. Опыт прошедшего столетия ставит скорее вопрос о бюрократизации как социальном

феномене, а не вопрос о форме авангардной партии, унаследованный от «Что делать?». Массовые организации (не только политические, но в равной степени и профсоюзы и ассоциации) по-прежнему забюрократизированы: во Франции об этом весьма красноречиво говорят примеры профсоюза CFDT, Социалистической партии, якобы обновленной Коммунистической партии и Зеленых. Но с другой стороны, как мы уже упоминали, ленинское определение партии и класса предлагает возможность осмыслить отношения между социальными движениями и политическим представительством. Аналогичным образом, [огульно отрицая принципы демократического централизма, его хулители выделяют преимущественно бюрократический гиперцентрализм, самым зловещим образом выразившийся в сталинистских партиях. Но некоторая степень централизма, отнюдь не противоречащая демократии, является основным условием для существования партии, так как определение границ партии – способ сопротивления разлагающему влиянию доминирующей идеологии, а также способ достижения определенного равенства её членов, в противовес неравенству, которое неизбежно порождает социальные отношения и разделение труда. Сегодня можно очень хорошо видеть как деградация этих принципов (вовсе не приводящая к усовершенствованию демократии) ведет к тому, что медиа кооптируют лидеров, а электорат голосует за этих лидеров, в еще меньшей степени контролируемых низами. Кроме того, демократия в революционной партии необходима для выработки коллективных решений, которые поддерживают баланс сил. Когда поверхностные хулители ленинизма провозглашают, что они освободились от удушающей дисциплины, они на деле лишают дискуссию самого важного, сводя ее к форуму, никого ни к чему не обязывающему: после свободного обмена мнениями без выработки общего решения все могут быть свободны – нет общей практики, которой поверяется действенность самых разных позиций. И, наконец, пресловутый кризис партийной формы часто позволяет – особенно переродившимся бюрократам из бывших коммунистических партий – не говорить о кризисе содержания программы и оправдывать отсутствие какой-либо работы по выработке стратегии.

Политика без партий (как бы они ни назывались: движение, организация, лига, партия) в большинстве случаев оказывается политикой без политики – либо бесполезным хвостизмом на фоне спонтанности социальных движений, либо наихудшей формой элитистского индивидуалистического авангардизма, либо, в конце концов, подавлением политического эстетическим или этическим.

---

[1] Arendt H., *Was ist Politik?* Munich, 1993, p. 28, 31.

[2] Фюре Ф. *Прошлое одной иллюзии*. – М.: Ad Marginem, 1998. – С. 558.

[3] Arendt H., *op. cit.*, p. 146.

[4] Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии / Избр. произведения в 3-х т. Т. 1. - М.: Политиздат, 1983. - С. 100.

[5] Ленин В.И. Избр. произведения в 4-х т. Т. 4. - М.: Политиздат, 1985. - С. 128.

[6] Проверить это нам позволит лишь выходящее за рамки данной статьи детальное изучение его позиций по национальному вопросу, вопросу о профсоюзах в 1921 г., о демократии в 1917 г.

[7] Ленин В.И. Избр. произведения в 4-х т. Т. 4. - М.: Политиздат, 1985. - С. 124.

[8] Ленин В.И. Избр. произведения в 4-х т. Т. 4. - М.: Политиздат, 1985. - С. 127.

[9] Lefebvre H., *Eléments de rythmanalyse*, Paris, Syllepses, 1996.

[10] Ленин В.И. *Философские тетради*. - М. 1978. - С. 112.

**О КНИГЕ ДЖОНА ХОЛЛОУЭЯ «ИЗМЕНИТЬ МИР БЕЗ ВЗЯТИЯ ВЛАСТИ»**

*Можно ли говорить о современном либертарном движении как о некоем цельном направлении, разворачивающемся на протяжении всей современной истории; можно ли связать воедино достаточное количество общих аспектов, чтобы они перевешивали собой разногласия? Если это движение и существует в действительности, то его характеризует значительная теоретическая эклектика и взаимопересечение стратегических ориентаций – не просто расходящихся, а зачастую противоположных. И все же мы можем исходить из существования некой либертарной «интонации» или «чувствительности», которые шире анархизма как определенной политической позиции. Таким образом, можно говорить о либертарном коммунизме (Даниэль Герен), о либертарном мессианстве (Вальтер Беньямин), о либертарном марксизме (Михаэль Леви и Мигель Абенсур) и даже о «либертарном ленинизме», берущем начало в «Государстве и революции».*

Однако, подобного «семейного сходства» (которое то уходит, то возникает вновь) не достаточно для последовательной генеалогии. Мы можем лишь сослаться на «либертарные моменты», зафиксированные в самых разных ситуациях, причем выводить их импульсы из совершенно отличных теоретических источников.

Весьма схематично мы можем выделить три ключевых момента: – Начальный момент, олицетворяемый трио Штирнер/Прудон/Бакунин. «Единственный и его собственность» (Штирнер) и «Философия нищеты» (Прудон) были изданы в середине 1840-х. В эти же годы – во время длительного путешествия из Берлина в Брюссель через Париж – оформились и взгляды Бакунина. Это был переломный момент – завершался период постреволюционной реакции, и уже зрели восстания 1848-го. Оформлялось современное государство. Новое сознание индивида познавало оковы современности в терзаниях романтизма. Беспрецедентное социальное движение всколыхнуло глубины нации, разделенной нарастающей борьбой классов. В этот период между «уже нет» и «еще нет» различные формы либертарной мысли флиртовали с расцветающими утопиями и романтической двойственностью. Двойственное само по себе движение порывало с либеральной традицией и одновременно тянулось к ней. «Либерально-либертарная» идентификация Даниэля Кон-Бендита наследует той самой исконной двойственности.

– Антиинституциональный или антибюрократический момент – на рубеже XIX и XX веков. В этот период опыт парламентаризма и массового профсоюзного движения выявил «профессиональные опасности власти» и бюрократизацию, угрожающую рабочему движению. Диагноз можно найти и в работах Розы Люксембург и в классической работе Роберта Майкла «О политических партиях» (1910) [1]; в революционном синдикализме Жоржа Сореля и Фернана Пелутье; в критических всплесках Густава Ландауэра. Отголоски слышны также в «Двухнедельных тетрадах» Пеги [2] и в итальянском марксизме Лабриолы.

- Третий, постсталинистский период связан с великим разочарованием трагического века крайностей. Растерянно складывается неолибертарное движение, более расплывчатое, чем классический анархизм, но и более влиятельное, чем прямые наследники последнего. Оно представляет скорее состояние ума, «настроение», чем четко очерченную ориентацию. Оно связано с устремлениями (и слабостями) возникающих социальных движений. Такие авторы, как Тони Негри и Джон Холлоуэй [3] вдохновляются скорее Фуко и Делёзом, чем историческими источниками XIX века, правом критической инвентаризации которых едва ли может воспользоваться даже классический анархизм [4].

В эти «моменты» являются также и посредники (вроде Вальтера Беньямина, Эрнста Блоха и Карла Корша), организующие перенос и критическое препоручение революционного наследия, «глядя против шерсти» сталинистскую консервацию.

Современные метаморфозы и возрождение либертарных движений легко объясняются:

- глубиной поражений и разочарований, пережитых начиная с 1930-х и обостренным осознанием опасности, угрожающей политике освобождения изнутри;

- углублением процесса индивидуализации и появлением «индивидуализма без индивидуальности», предвосхищенного в споре Штирнера и Маркса;

- все более ожесточенными формами сопротивления дисциплинарным новациям и процедурам биополитического контроля - со стороны тех, кто подвергается деформации личности посредством рыночного овеществления.

В этом смысле, несмотря на глубокие разногласия, о которых пойдет речь ниже, мы благодарны Негри и Холлоуэю за возобновление весьма насущных стратегических дебатов в рамках сопротивления империалистической глобализации. Эта проблема была поднята после столь мрачной четверти века, когда подобное обсуждение практически сошло на нет, а те, кто не сдался логике рынка-триумфатора, блуждали между риторикой сопротивления, лишенной какой-либо надежды и фетишистской надеждой на некое чудо. В другом месте мы уже предприняли критическое рассмотрение Негри и его эволюции [5]. Здесь же мы начнем дискуссию с Джоном Холлоуэем, чья недавняя книга имеет безусловно программное название и уже вызвала оживленные дебаты как в англоязычном мире, так и в Латинской Америке.

### **Этатизм как первородный грех**

Вначале был крик. Подход Холлоуэя начинается с императива безусловного сопротивления: мы кричим! Это крик не только ярости, но и надежды. Мы издаем крик, крик отрицания, крик сапатистов в Чиапасе: «Ya Basta! Хватит!» - крик неподчинения, крик несогласия. «Цель данной книги, - заявляет Холлоуэй, - укрепить отрица-

ние, принять сторону мухи в паутине, сделать так, чтоб крик стал более резким» [6]. То, что объединило сапатистов (а они появляются в исследовании Холлоуэя постоянно) с другими – это «не позитивность общей классовой композиции, а общее отрицание – борьба против капитализма» [7]. Так Холлоуэй характеризует борьбу, цель которой – отрицание навязанной нам бесчеловечности – ради отвоевания субъективного начала, присущего самой негативности. Нам не нужно обещание хэппи-энда, чтоб оправдать наше отрицание этого мира здесь и сейчас. Как и Фуко, Холлоуэй желает быть связанным с миллионом, множеством форм сопротивления, несводимым к бинарному отношению труда и капитала.

Но невозможно занять ту или иную позицию с помощью одного лишь крика. Необходимо принимать в расчет и великое крушение иллюзий, происшедшее в прошлом веке. Почему же все эти крики, миллионы криков, повторенные миллион раз, не только не свергли деспотический порядок капитала, но даже придали ему еще больше самоуверенности? Холлоуэй полагает, что у него есть ответ. В яблоке сидел червь: (теоретический) порок исходно гнезвился в освободительной добродетели: с самого начала рабочее движение в большинстве его вариаций разъедал этатизм. Таким образом, по мнению Холлоуэя, стремление изменить мир с помощью государства сформировало господствующую парадигму революционной мысли, которая, начиная с XIX века и далее, была подчинена инструментальному, функциональному видению государства. Иллюзия, что общество может быть изменено с помощью государства, проистекает (так говорит Холлоуэй) из определенной идеи государственного суверенитета. Но теперь мы знаем, что «нельзя изменить мир посредством государства», которое лишь создает «центр паутины властных отношений» [8]. Государство здесь нельзя путать с властью. Всё, что оно делает – это устанавливает разделение на граждан и неграждан (иностранцев, изгоев, «людей, отвергнутых миром», по Габриэлю Тарду, «парий», по Арендт). Суть государства (*état*) весьма точно выражено самим словом – «оплот против каких-либо изменений, против течения событий», другими словами, «воплощение идентичности» [9]. Это не то орудие, которое может быть использовано против прежних его хозяев, это скорее социальная форма или, точнее, процесс формирования социальных отношений: «процесс этатизации социального конфликта» [10]. Призыв к борьбе посредством государства, таким образом, неизбежно приводит к поражению. Сталинские «государственнические стратегии» ни в коей мере не являются для Холлоуэя предательством революционного духа большевизма, они являются как раз его полным воплощением: «логическим результатом государствоцентричной концепции социальных изменений» [11]. Сапатистская концепция, наоборот, заключается в спасении революции от разрушительных этатистских иллюзий и, одновременно, от разрушительных иллюзий власти.

Мы продолжим читать книгу Холлоуэя, но уже ясно следующее: – Он сводит всю богатейшую историю рабочего движения, его опыт и

противоречия, к единственному маршу этатизма сквозь века, как будто самые разнообразные теоретические и стратегические концепции не боролись всё это время друг с другом. Он подает некий воображаемый сапатизм как абсолютное новшество, игнорируя тот факт, что в реальности сапатистский дискурс включает в себе, может быть, неосознанно, множество старых мотивов.

- С его точки зрения господствующей парадигмой революционной мысли является функциональный этатизм. Принять этот тезис можно, если только проглотить весьма сомнительное предположение, будто мажоритарная идеология социал-демократии (которую символизируют Носке и прочие Эберты) и сталинская ортодоксия могут быть объединены под весьма растяжимым названием «революционная мысль». Но полагать так - значит не учитывать всю обширную критическую литературу по вопросу о государстве от Ленина и Грамши до современной полемики [12] (например, Пулантцаса и Альтфатера), которую невозможно игнорировать, не важно, согласны мы с ней или нет.

- И, наконец, он сводит всю историю революционного движения к генеалогии «теоретического отклонения», позволяющей парить над реальной историей на ангельских крыльях, рискуя поддержать реакционный тезис (от Франсуа Фюре до Жерара Куртуа) о неразрывной связи Октябрьской революции и сталинской контрреволюции - «логическое следствие»! - при этом не подвергая сталинизм серьезному анализу. Давид Руссе, Пьер Навиль, Моше Левин, Михаил Гефтер (не говоря уже о Троцком, Ханне Арендт или даже Лефоре и Касториадисе) подходили к этому вопросу неизмеримо серьезнее.

#### **Порочный круг фетишизма и как из него выйти?**

Другой источник стратегических отклонений революционного движения Холлоуэй усматривает в отбрасывании (или забвении) критики фетишизма, содержащейся в первом томе «Капитала» Маркса. Об этом Холлоуэй очень кстати, хотя и немного схематично, напоминает нам. Капитал есть не что иное, как прошедшая деятельность (мертвый труд), застывшая в форме собственности. Мышление в категориях собственности сводится, тем не менее, к осмыслению собственности как вещи, в категориях самого фетишизма, что в действительности означает принятие категорий господства. Проблема не в том, что капиталисты владеют средствами производства: «Наша борьба, - настаивает Холлоуэй, - ведется не с целью завладеть средствами производства, а с целью упразднения собственности и средств производства: воссоздать или, лучше, сотворить сознательную и доверительную общность созидания» [13].

Но как же разорвать порочный круг фетишизма? Само понятие, говорит Холлоуэй, отсылает к невыносимому ужасу, создаваемому самоотрицанием действия. Он считает, что «Капитал» посвящен в пер-



вую очередь критике этого самоотрицания. Концепция фетишизма содержит в концентрированной форме критику буржуазного общества («заколдованного... мира» [14]) и буржуазной теории (политэкономии), но в то же время раскрывает причины его относительной стабильности: inferнальный вихрь, превращающий объекты (деньги, машины, товары) в субъекты, а субъекты – в объекты. Этот фетишизм вгрызается во все поры общества и чем настоятельнее и необходимее кажется революционное переустройство, тем менее возможным оно выглядит. Холлоуэй подытоживает это весьма тревожным поворотом мысли: «настоятельная невозможность революции» [15].

Подобное представление о фетишизме происходит из различных источников: анализ овеществления Лукача, анализ инструментальной рациональности Хоркхаймера, анализ круга тождественности (identité) Адорно и анализ одномерного человека, сделанный Маркузе. Концепция фетишизма выражает для Холлоуэя власть капитала, взрывающегося в нашей самых дремучих сельвах снарядом, который разлетается тысячами сверкающих ракет. Именно поэтому проблема революции это не «они» – враг, многоликий противник, а, в первую очередь, «мы» – наша проблема, проблема того, что «мы», фрагментированные фетишизмом, создаем для себя.

Фетиш, эта «реальная иллюзия», в действительности запутывает и поработывает. Он делает проблематичным сам статус критики: если социальные отношения фетишизированы, как мы можем их критиковать? И кто, какое верховное и привилегированное существо, является критиком? Короче говоря, возможна ли ещё критика как таковая?

Вот те вопросы, ответом на которые, согласно Холлоуэю, стало понятие авангарда, «вмененного» классового сознания (вменяемого кем?) или ожидание искупительного события (революционного кризиса). Такие решения неизбежно приводили к проблематике здорового субъекта или борца за справедливость, ведущего борьбу с *большим* обществом: доблестный рыцарь, воплощенный в «герое рабочего класса» или авангардной партии.

Подобная «жесткая» концепция фетишизма ведет к неразрешимой дилемме: Можно ли помыслить революцию? Возможна ли еще критика? Как избежать «фетишизации фетишизма»? Кто мы такие, чтобы применить разъедающую силу критики? «Мы не боги. Мы не... трансцендентны» [16]! Как избежать тупика подчиненной (subaltern) критики, остающейся под господством фетиша, который она намерена свергнуть (так же, как отрицание предполагает подчиненность тому, что оно отрицает)?

Холлоуэй предлагает несколько решений:

– Реформистский ответ, предполагающий, что мир не может быть трансформирован радикальным образом; мы должны довольствоваться его переустройством и закреплениях в собственных границах. Современная постмодернистская риторика сопровождает подобную форму

резиньяции своей, уже гораздо менее камерной музыкой.

- Традиционный революционный ответ, который игнорируют все уловки и тонкости фетишизма и цепляется за старый добрый антагонизм труда и капитала настолько, что довольствуется изменениями форм собственности на вершине государства: буржуазное государство просто становится пролетарским.

- Третий путь, заключающийся, наоборот, в надежде на саму природу капитализма и его «многостороннюю [или имеющую множество форм] власть», адекватным ответом на которую будет «многостороннее [имеющее множество форм] сопротивление» [17].

Таким образом, Холлоуэй рассчитывает вырваться из круговорота системы, из её западни, приняв облегченную версию фетишизма, воспринимаемого не как статичное положение вещей, а как динамический и противоречивый процесс фетишизации. Он полагает, что этот процесс чреват собственной противоположностью – «антифетишизацией» форм сопротивления, имманентной самому фетишизму. Мы являемся не просто олицетворением жертв капитала, мы – настоящие или потенциальные антагонистические субъекты: «Наше существование-против-капитала», следовательно, является «неизбежным постоянным отрицанием нашего существования-в-капитале» [18].

Капитализм следует понимать прежде всего как отделение от субъекта и от объекта, а современность – как несчастное сознание этого разделения. Внутри проблематики фетишизма субъект капитализма – это не сам капиталист, а стоимость, валоризированная сама по себе и ставшая автономной. Капиталисты – это всего лишь верные агенты капитала и его безличной деспотии. Но тогда для функционалистского марксизма капитализм является закрытой, внутренне непротиворечивой системой без какой-либо возможности выхода, пока – как бог из машины – чудесным образом не произойдет революционный переворот. Для Холлоуэя же, наоборот, слабость капитализма заключается в том, что капитал «зависит от труда в том, что труд не зависит от капитала»: «неподчинение труда, таким образом, является той осью, вокруг которой вертится формирование капитала как капитала». В отношениях взаимной, но асимметричной зависимости между капиталом и трудом труд способен освободить себя, а капитал нет [19].

Холлоуэй вдохновляется автономистским тезисом, выдвинутым Марио Тронти, – тезисом, который иначе показывает саму дилемму – представляя роль капитала как чисто реакционную по отношению к созидательным инициативам труда. В этой перспективе труд, как активный элемент капитала, всегда определяет капиталистическое развитие посредством классовой борьбы. Тронти считает свой подход «коперниканской революцией в марксизме» [20]. Холлоуэй, хотя и увлечен этой идеей, все же не до конца доверяет теории автономии, склонной отвергать работу отрицания (а у Негри – отвергать всякую диалектику во имя онтологии) и относиться к индустриаль-

ному рабочему классу как позитивному мифическому субъекту (так же как Негри относится к «множеству» в своей последней книге). Холлоуэй говорит, что радикальная перестановка не должна довольствоваться перенесением субъективности капитала на труд, она должна воспринимать субъективность как отрицание, а не как положительное утверждение.

Подводя (промежуточный) итог, мы должны признать заслуги Джона Холлоуэя по возвращению проблемы фетишизма и овеществления в центр стратегической проблематики, хотя, надо заметить, аргументы его отнюдь не блещут новизной. Хотя «ортодоксальный марксизм» сталинистского периода (включая Альтюссера) по сути отвергал критику фетишизма, красная нить этой критики всё же не затерялась: от Лукача она ведет к авторам, принадлежавшим к «теплому течению марксизма» (по выражению Эрнста Блоха): Роману Роздольскому, Якубовскому, Эрнсту Манделю, Анри Лефевру (в его «Критике повседневной жизни»), Люсьену Гольдману, Жан-Мари Венсану (чья работа «Фетишизм и общество» издана еще в 1973!) [21] и более современным Ставрису Томбазосу и Алану Биру [22].

Подчеркивая тесную связь между процессами фетишизации и антифетишизации, Холлоуэй, после долгих маневров, снова выводит нас к противоречию в социальных отношениях, выражающемуся в классовой борьбе. Как и Председатель Мао, он считает, что, поскольку противоположности не симметричны, то полюс труда формирует динамический, определяющий элемент. Выглядит так, будто мальчишка закидывает руку вокруг головы, чтобы ухватить себя за нос. Тем не менее, стоит отметить, что сосредоточенность Холлоуэя на процессе «дефетишизации» внутри фетишизации позволяет ему релятивизировать (дефетишизировать?) вопрос собственности, который он, без всякого смущения, объявляет разрешимым в самом «течении событий» [23].

Сомневаясь в статусе собственной критики, Холлоуэй не может разрешить парадокс скептика, сомневающегося во всем, кроме собственного сомнения. Правомочность его критики все же зависит от ответа на вопрос «во имя кого» и «с чьей (партийной?) точки зрения» провозглашает он догматическое сомнение (иронически подчеркнутое в книге Холлоуэя его нежеланием довести это сомнение до логического конца). Короче говоря, «кто мы, критикующие?» [24]: привилегированные маргиналы, децентрализованные интеллектуалы, дезертиры системы? По сути – интеллектуальная элита, такой авангард, признает Холлоуэй. Раз уж выбор сделан в пользу отказа или релятивизации классовой борьбы, то парадоксальным образом усиливается роль вольнопарящего интеллектуала. Таким образом, мы быстро впадаем в каутскианское понятие о науке, вносимой интеллигенцией (интеллектуалами, обладающими научными знаниями) в «пролетарскую классовую борьбу извне» и отходим от ленинской идеи о «классовом политическом сознании» (не науке!), вносимой «извне экономической борьбы» (не извне классовой борьбы) партией (а не научной интеллигенцией) [25].

Скажем прямо, серьезное отношение к фетишизму всё-таки не облегчает решение старого вопроса об авангарде, каким бы словом его ни называли. В конце концов, разве сапатизм не является своеобразным авангардом (и Холлоуэй пророк его)?

#### **«Настоятельная невозможность революции»**

Холлоуэй предлагает вернуться к концепции революции «как вопроса, а не как ответа» [26]. Главная проблема революционного изменения уже не «захват власти», а само существование власти: «Проблема традиционной концепции революции, возможно, заключается не в том, что она целит слишком высоко, а в том, что она целит слишком низко» [27]. «Единственный способ вообразить сегодня революцию – видеть её не как захват власти, а как растворение власти». Именно это и подразумевают часто упоминаемые автором сапатисты, когда говорят, что хотят создать мир гуманности и достоинства, но «без захвата власти». Холлоуэй признает, что подобный подход может выглядеть не вполне реалистичным. Поскольку вдохновляющая его практика сапатистов не нацелена на захват власти и не особо преуспела – на сегодняшний день – в изменении мира, Холлоуэй просто (догматически?) утверждает, что иного пути нет.

Подобная уверенность, сколь бы безапелляционной она ни была, вряд ли поможет нам решить проблему. Как изменить мир без захвата власти? В этом автор книги полагается на нас.

Дойдя до конца книги, мы так и не понимаем этого. «Ленинисты знают или знали, а мы нет. Революционные изменения более настоятельны чем когда бы то ни было, но мы не знаем уже, что же значит революция... Наше незнание – это... незнание того, кто понимает, что незнание есть часть революционного процесса. Мы потеряли всяческую уверенность, но открытость неуверенности является центральной по отношению к революции. «Мы идем вопрошая» – говорят сапатисты. Мы спрашиваем не только потому, что не знаем дороги, ...но и потому, что спрашивать дорогу – это часть самого революционного процесса» [28].

Здесь мы подходим к ключевому пункту дискуссии. На пороге нового тысячелетия мы уже не знаем, на что будет похожа будущая революция. Но мы знаем, что капитализм не вечен, и нам действительно необходимо избавиться от него, пока он не сокрушил нас. Это первое значение идеи революции: в этой идее выражается вновь и вновь возникающее стремление угнетенных к освобождению. Мы знаем также – из истории политических революций, породивших современные нации-государства, испытаний 1848 года, Коммуны и поражений революций в XX веке – что революция будет социальной или ее не будет вообще. Это – второе значение, которое слово революция приобрело после «Манифеста Коммунистической партии». Но с другой стороны, после целого цикла весьма болезненных экспериментов, нам трудно представить стратегическую форму будущих ре-

волюций. И это третье значение этого слова, которое нам трудно постичь. В этом ничего нового: никто не планировал Парижскую Коммуну, Советскую власть или Каталонский Совет Милиции. Эти, «наконец найденные», формы революционной власти, родились в борьбе и из подспудной памяти о предыдущих восстаниях.

Неужели все эти представления и убеждения стинули со времен Русской революции? Предположим, что это так (хотя я не вполне уверен в том, что революционеры прошлого были так уж безусловно уверены в тех или иных конкретных формах). Не стоит забывать уроки (за которые было заплачено дорогой ценой) поражений и свидетельств прошлых неудач. Те, кто хотел, пытался игнорировать государственную власть и ее завоевание, часто становились её жертвами: они не хотели завоевывать власть, и власть завоевала их. Она чаще всего уничтожала тех, кто надеялся обмануть, избежать, обойти или перехитрить её. И процессообразной силы «дефетишизации» оказывалось недостаточно, чтобы спастись.

Даже «ленинисты» (которые?), пишет Хэллоуэй, уже не знают (как спасти мир). Но разве они, начиная с самого Ленина, претендовали на обладание тем доктринерским знанием, которое Хэллоуэй приписывает им? В истории всё сложнее. В политике возможен лишь один вид стратегического знания – условное, гипотетическое знание, «стратегическая гипотеза», выводимая из прошлого опыта и служащая вертикалью, без которой всякое действие сходит на нет, не достигнув результата. Необходимость такой гипотезы никоим образом не избавляет нас от постоянной корректировки, так как будущий опыт непременно будет в чем-то беспрецедентным, имеющим свои неожиданные аспекты. Отрицание догматического знания, следовательно, еще не причина вычеркивать и игнорировать прошлое, поскольку мы боремся с конформизмом, постоянно угрожающим традиции (даже революционной традиции). В ожидании нового опыта нельзя легкомысленно забывать два века борьбы – с июня 1848 года до чилийской и индонезийской контрреволюций, забывать то, чему нас научил опыт русской революции, трагедия Германии и испанской гражданской войны.

До сих пор не было случая, когда отношения господства не взламывались бы во время революционного кризиса: стратегическое время – это не ровное время минутной стрелки часов, а время прерывистое, его ход то внезапно ускоряется, то вдруг резко замедляется. В такие критические моменты всегда возникала форма двоевластия, и вставал вопрос «кто кого». Не бывало, чтобы кризис разрешился в пользу угнетенных без решительного вторжения политической силы извне (называйте её партией или движением), развивающей проект, способной к принятию решений и решительным действиям.

«Мы утратили то, что несомненно», – повторяет Холлоуэй, словно герой Ива Монтана в весьма посредственном фильме «Дорога на юг» по сценарию Хорхе Семпруна. Несомненно лишь то, что нам следует научиться действовать, не уповая на несомненность. Но, где бы ни происходила борьба (исход которой неопределенен по сути), там

происходит столкновение противоположных волей и убеждений, в которых нет очевидности, а есть руководство к действию, чреватое искажениями на практике. Мы должны быть «открыты неопределённости», как того требует Холлоуэй, но не должны прыгать в стратегическую пустоту!

Там, в этой пустоте, единственный возможный исход кризиса – это само событие, но событие без действующих лиц, чисто мифологическое событие, оторванное от исторических условий, уходящее из области политической борьбы для того, чтобы впасть в теологию. Именно это имеет в виду Холлоуэй, когда призывает читателей думать об «антиполитике событий, а не о политике организации». [29] Переход от политики организации к антиполитике событий может произойти, как он говорит, если мы используем опыт Мая 1968-го, опыт восстания сапатистов и волны демонстраций против капиталистической глобализации. «Эти события – вспышки против фетишизма, фестивали неподчинения, карнавалы угнетенных» [30]. Неужели карнавал – это и есть наконец-то найденная форма постмодернистской революции?

#### **Воспоминание об ушедших субъектах**

Будет ли эта революция – карнавал – происходить без действующих лиц (acteurs)? Холлоуэй упрекает «политику идентичности» в «фиксации идентичности», – желание кого-либо «быть» кем-то всегда означает в глазах Холлоуэя кристаллизацию идентичности, тогда как нет оснований для различия хороших и плохих идентичностей. Идентичности имеют значение только в особых ситуациях и в переходный период: идентичность еврея в нацистской Германии не была такой же, как в современном Израиле. Ссылаясь на красивый текст, в котором субкоманданте Маркос воспевает множественность накладывающихся друг на друга идентичностей (скрываясь под своей хорошо известной маской), Холлоуэй доходит до того, что представляет сапатизм как «открыто антиидентичностное» движение [31]. Кристаллизация же идентичности является для него, наоборот, антитезисом взаимного признания, общности, дружбы, любви и представляет собой разновидность эгоистичного солипсизма. В то время, как идентификация и классифицирующие определения являются оружием дисциплинарного арсенала власти, диалектика выражает углубленное значение неидентичности: «Мы, неидентичности, боремся против идентификации. Борьба против капитала – это борьба против идентификации вообще, а не борьба за альтернативную идентификацию» [32]. Идентификация сводится к мышлению, основанному на бытии, тогда как мышление, основанное на действии, является идентификацией и отрицанием идентификации одновременно [33]. Критика Холлоуэя, следовательно, представляет собой «атаку на идентичность» [34], отказ быть определенным, классифицируемым и идентифицируемым. Мы не есть то, что они о нас думают, и мир не таков, каким они его провозглашают.

Зачем же тогда продолжать говорить «мы»? К чему относится тогда это королевское «мы» в действительности? Оно не может обозначать никакой великий трансцендентный субъект (Человечество, Женщину или Пролетариат). Тогда определить рабочий класс значит свести его к положению объекта капитала, лишив его собственной субъективности. Следовательно, необходимо отказаться от поисков позитивного субъекта: «Класс, как и государство, как деньги, как капитал следует понимать как процесс». «Капитализм – это вечно-возобновляющаяся генерация класса, вечно-возобновляющаяся классификация людей» [35]. Подобный подход едва ли нов (для тех из нас, кто всегда искал в понятии классовой борьбы не суть, а лишь отношения). Это и есть процесс «формирования», всегда начинающийся заново и всегда незавершенный, который Э.П. Томпсон столь замечательно исследовал в своей работе об английском рабочем классе.

Но Холлоуэй идет еще дальше. В то время, как рабочий класс может формировать социологическое понятие, для Холлоуэя не существует никакого революционного класса. «Целью нашей борьбы является не создание новой идентичности, а интенсификация антиидентичности. Кризис идентичности – это освобождение» [36]: он высвобождает множество форм сопротивления и множество криков. Это множество не может быть подчинено априорному единству мифического пролетариата, так как с точки зрения действия мы зависим от ситуации и меняющейся конъюнктуры. Все ли идентификации, какими бы легкими и изменчивыми они ни были, играют одинаковую роль в определении условий и ставок борьбы? Холлоуэй не может (сам) ответить на этот вопрос. Дистанцируясь от фетишизма «множества» Негри, он выражает опасения, лишь когда всплывает неразрешенная стратегическая загадка: он опасается, что, акцентировавшись на «множестве» и забыв подчеркнуть при этом единство отношений власти, можно потерять политическую перспективу и прийти к той точке, где освобождение окажется непредставимым.

### ***Призрак антивласти***

Чтобы выйти из этого тупика и разрешить стратегическую загадку, заданную нам сфинксом капитала, Холлоуэй предлагает «анти-власть»: «Данная книга является исследованием абсурда и теневого мира антивласти» [37]. Для этих целей он пользуется определением Негри, различающим «учреждающую», то есть, низовую, революционную власть («potentia») и «учрежденную», то есть, действующую сверху, государственную власть («potestas»). Целью для Холлоуэя является освобождение «учреждающей» власти от «учрежденной», созидания от рутинной «работы», субъективности от объективизации. Если «учрежденная» власть осуществляется с помощью оружия, то «учреждающая», полагает он, на это неспособна. Но само понятие антивласти всё-таки зависит от «учрежденной» власти. И все же борьба за освобождение «учреждающей» власти это борьба за

создание не контрвласти, а скорее антивласти, нечто такого, что радикально отличается от «учрежденной» власти. Концепции революции, фокусирующиеся на захвате власти, базируются, как правило, на понятии контрвласти.

Таким образом, революционное движение слишком часто строится как «зеркальное отражение власти, армии против армии, партии против партии». Холлоуэй определяет антивласть, наоборот, как «растворение учрежденной власти» во имя «освобождения учреждающей» [38].

Каков же стратегический вывод Холлоуэя (или антистратегический вывод, раз уж стратегия также тесно связана с «учрежденной» властью)? «Должно быть понятно – власть невозможно взять по той простой причине, что властью не обладает никакая определенная личность или институция, она лежит во фрагментации социальных отношений» [39]. Достигнув столь заоблачных высот, Холлоуэй удовлетворенно рассматривает целую лужу грязной воды, выплеснутой из купели и одновременно беспокоится о младенцах, выплеснутых вместе с ней. Перспектива власти для угнетенных породила неопределяемую, размытую антивласть, о которой говорится лишь то, что она везде и нигде, как центр паскалевской окружности. Преследует ли призрак антивласти заколдованный мир капиталистической глобализации? Наоборот, можно скорее опасаться умножения всяческих «анти-» (антивласти антиреволюции на основе антистратегии), которые окажутся лишь жалкими риторическими уловками и в результате обезоружат угнетенных (теоретически и практически), но не разорвут железную хватку господства капитала.

### **Воображаемый сапатизм**

Что касается философии, Холлоуэй находит в работах Делёза и Фуко репрезентацию власти как «множественности отношений сил», а не как бинарное отношение. Такую разветвленную власть можно отличать и от государства, основанного на суверенных прерогативах, и от аппарата господства. Этот подход вряд ли блещет новизной. В 1970-х работы Фуко «Надзирать и наказывать» и «История сексуальности. Том 1» повлияли на некоторые критические реинтерпретации Маркса [40]. Но проблематика Холлоуэя, близкая Негри, тем не менее, расходится с последним – Холлоуэй считает, что Негри ограничивает себя радикальной демократической теорией, основанной на противопоставлении конституирующей власти и институционализированной власти – в той же бинарной логике столкновения титанов: монолитной мощи капитала (Империя с большой буквы) с монолитной мощью Множества (тоже с большой буквы).

Холлоуэй ссылается прежде всего на опыт сапатистов, чьим теоретическим глашатаем он себя и назначил. И всё же это скорее воображаемый или даже мифический сапатизм, не берущий в расчёт реальные противоречия политической ситуации, трудности и препятствия, с которыми столкнулись сапатисты со времени начала вос-



стания 1 января 1994 года. Ограничиваясь уровнем дискурса, Холлоуэй даже не пытается анализировать причины неспособности сапатистов найти для себя базу в городах.

Сапатисты, безусловно, мыслят и коммуницируют по-новому. Жером Баше в своей работе «Сапатистская искра» рассматривает вклад сапатистов с большим сочувствием и симпатией, но не затушевывая их проблемы и противоречия [41]. Холлоуэй же, наоборот, склонен воспринимать их риторику буквально.

Ограничиваясь вопросами власти и антивласти, гражданского общества и авангарда, восстание в Чиапасе 1 января 1994 года («в момент, когда критические силы были вновь приведены в движение», – говорит Баше) безусловно следует рассматривать как новый этап сопротивления неолиберальной глобализации, с тех пор ставшего для всех очевидным – от Сизтла и Порту-Алегри до Генуи. Этот момент есть также и стратегическая «точка взрыва», момент критического размышления, переучета и вопрошания по итогам «короткого XX века» и «Холодной войны» (которую Маркос считает Третьей мировой). И в этой переходной ситуации глашатаи сапатистов настаивают на том, что «сапатизма не существует» (Маркос) и что у него «нет какой-либо линии, нет рецептов». Они говорят, что не хотят захватить государство, взять власть, а им нужно лишь нечто «немного более сложное – новый мир». Что нам нужно взять – так это себя, – переводит Холлоуэй. Но сапатисты всё же подтверждают необходимость «новой революции»: без слома не может быть изменений. Это, следовательно, и есть гипотеза, развитая Холлоуэем – революция без захвата власти. Но если тщательно рассмотреть формулировки сапатистов, то они окажутся более сложными и двоякими, чем видятся на первый взгляд. Кто-то увидит в них, главным образом, самокритику вооруженных движений 60-70-х, военной иерархии, готовности отдавать приказы социальным движениям и каудильистских деформаций. На этом уровне тексты Маркоса и коммунике EZLN являются спасительной поворотной точкой, возрождением традиции «социализма снизу» и народного самоосвобождения.

Целью является не захват власти для себя (партии, армии, авангарда), а передача власти народу, при этом подчеркивается разница между государственным аппаратом в строгом смысле слова и отношениями власти, более глубоко укорененными в социальных отношениях (начиная с социального разделения труда между индивидуумами, между полами, между работниками умственного и физического труда). Во-вторых, на тактическом уровне, сапатистский дискурс нацелен на дискурсивную стратегию. Отлично сознавая, что свержение центрального правительства и правящего класса весьма трудно достижимо в стране, имеющей 3000-километровую границу с американским империалистическим гигантом, сапатисты заранее отказываются от недостижимых целей. Это благородство вытекает из необходимости, и вот они начинают войну на истощение, посредством долгого двоевластия, по крайней мере, на региональном уровне.

В-третьих, на стратегическом уровне сапатистский дискурс сводится к отрицанию важности вопроса власти – лишь ради требования

организации гражданского общества. Подобная теоретическая позиция является дихотомией между гражданским обществом и политическими (особенно избирательными) институциями. Предполагается, что гражданское общество будет действовать как группы давления (лоббирования) на те институции, которые гражданское общество просто не может изменить.

Находящийся в достаточно неблагоприятных национальных, региональных и международных условиях, при неблагоприятной расстановке сил, сапатистский дискурс играет на всех этих регистрах, а практика сапатистов умело лавирует между рифами. Это абсолютно оправданно – пока мы не делаем заявлений, основанных на стратегических расчетах, призывая при этом подняться над этими расчетами. Сами сапатисты хорошо знают, что время играет на них; они могут релятивизировать вопрос власти в своих коммюнике, но они всё же знают, что существующая в Мексике власть буржуазии, армия и «северный колосс» не упустят возможности подавить восстание местного населения Чиапаса так же, как колумбийское государство и США сейчас пытаются подавить колумбийскую герилью.

Рисуя псевдо-ангельскую картину сапатизма, дистанцируясь от конкретной политики и истории, Холлоуэй подкрепляет тем самым весьма опасные иллюзии. При подведении итогов у Холлоуэя никакой роли не играет сталинистская контрреволюция. В его работах, как и у Франсуа Фюре, вся история является лишь результатом правильных или неправильных идей. Поэтому он позволяет себе, в итоге, отрицание всей революционной теории, так как, по его мнению, реформистский опыт оказался столь же провальным, как и революционный. Подобный приговор, весьма поспешный, обобщенный (и даже грубоватый) предполагает существование лишь двух симметричных направлений, двух конкурирующих, но одинаково провальных подходов; он предполагает, что сталинский режим (и прочие его воплощения) являются результатом «революционного опыта», а не термидорианской контрреволюции. Подобная весьма странная историческая логика позволяет также провозгласить французскую революцию провальной, равно как и американскую [42].

Осмелимся же выйти за рамки идеологии и погрузиться в глубины исторического опыта, чтобы вновь отыскать связующую нить стратегической дискуссии, похороненных под тяжестью поражений. Стоя на пороге мира, который будет в чем-то совершенно новым для нас, мира, в котором новое перешагивает через старое, лучше признать в том, что мы чего-то не знаем и открыть себя восприятию нового опыта, а не теоретизировать о нашем бессилии, преуменьшая грядущие препятствия.

---

[1] Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, trans. by Eden Paul [et al.], New York: Free Press, 1987.

- [2] См. Michael Löwy, *Redemption and Utopia*, London: Athlone, 1992.
- [3] См. в частности: Michael Hardt and Antonio Negri, *Empire*, Cambridge MA: Harvard University Press, 2000, and John Holloway, *Change the World without Taking Power*, London: Pluto Press, 2002 (испанский перевод: *Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder*, Buenos Aires: Herramienta, 2002).
- [4] Поразительно, насколько в этом отношении более уважительной (даже церемонной) и менее критичной является эта тенденция изначально по сравнению с неортодоксальным марксизмом, когда она возвращается «назад к Марксу».
- [5] См. Daniel Bensaïd, *La Discordance des temps*, Paris: Editions de la Passion, 1995; *Résistances: Essai de Taupologie Générale*, Paris: Fayard, 2001; статьи в *ContreTemps* no. 2 и в итальянском журнале *Erre* no. 1 (о понятии множества); и, наконец, дополнения, которые будут опубликованы издательством Verso в англоязычной антологии.
- [6] Цит. по: John Holloway, *Change the World Without Taking Power*, London: Pluto Press, 2002, p. 8.
- [7] Holloway 2002, p. 164.
- [8] Holloway 2002, p. 19.
- [9] Holloway 2002, p. 73.
- [10] Holloway 2002, p. 94.
- [11] Holloway 2002, p. 96.
- [12] См. дебаты, опубликованные в *ContreTemps* no. 3.
- [13] Holloway 2002, p. 210.
- [14] Holloway 2002, p. 54, цит.: Marx 1966, p. 830.
- [15] Holloway 2002, p. 74.
- [16] Holloway 2002, p. 140.
- [17] Holloway 2002, p. 76.
- [18] Holloway 2002, p. 90.
- [19] Holloway 2002, p. 182.
- [20] Холлоуэй вряд ли способен рассматривать эту коперниканскую революцию критически. Четверть века спустя подобное рассмотрение возможно, если, конечно, не повторять те же теоретические иллюзии и практические ошибки, облачая тот же теоретический дискурс в новые терминологические одежды. По данному вопросу см. Мария Турчетто (Maria Turchetto) о «дезорганизирующей траектории итальянского автономизма» в *Dictionnaire Marx Contemporain*, Jacques Bidet et Eustache Kouvélakis éds., Paris: PUF, 2001; а также Steve Wright, *Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism*, London: Pluto Press, 2002.
- [21] Jean-Marie Vincent, *Fétichisme et Société*, Paris: Anthropos, 1973.
- [22] Stavros Tombazos, *Les Temps du Capital*, Paris: Cahiers des Saisons, 1976; Alain Bihr, *La Reproduction du Capital* (2 vols.), Lausanne. P. 2, 2001.
- [23] Holloway 2002, p. 210.
- [24] Holloway 2002, p. 140.

[25] В.И. Ленин «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения», ПСС. Т. 6, см. также: Даниэль Бенсаид «Скачки! Скачки! Скачки! Ленин и политика».

[26] Holloway 2002, p. 139.

[27] Holloway 2002, p. 20.

[28] Holloway 2002, p. 215.

[29] Holloway 2002, p. 214.

[30] Holloway 2002, p. 215.

[31] Holloway 2002, p. 64.

[32] Holloway 2002, p. 100.

[33] Holloway 2002, p. 102.

[34] Holloway 2002, p. 106.

[35] Holloway 2002, p. 142.

[36] Holloway 2002, p. 212.

[37] Holloway 2002, p. 38.

[38] Holloway 2002, p. 37.

[39] Holloway 2002, p. 72.

[40] Подобное происходило со многими книгами, в том числе и с одной из моих: она носит многозначительное название *La Révolution et le Pouvoir* («Революция и власть», Paris: Stock, 1976), где во вступительной статье читаем: «Первая пролетарская революция дала ответ на вопрос о государстве. Его отмирание оставило нам вопрос о власти. Государство должно быть разрушено, а его машина сломана. Власть должна быть уничтожена как в своих институциях, так и в андеграунде власти. Как, несмотря на видимое противоречие, совмещается с этим процессом борьба, посредством которой пролетариат создает себя в качестве правящего класса? Нам следует вновь заняться анализом кристаллизации власти в капиталистическом обществе, проследить путь ее возрождения в бюрократической контрреволюции и взглянуть на борьбу эксплуатируемых классов, чтобы увидеть тенденции социализации и отмирания власти, которые помогут преодолеть этатизацию общества».

[41] Jérôme Baschet, *L'Étincelle Zapatiste: Insurrection Indienne et Résistance Planétaire*, Paris: Denoël, 2002.

[42] См. статью Атилио Борона «La Selva y la Polis», OSAL (Buenos Aires), June 2001, и Исидро Крус Бернала в *Socialismo o Barbarie* (Buenos Aires), no. 11, May 2002. Выражая симпатию и солидарность с сапатистским сопротивлением, авторы предостерегают от соблазна основывать на нём новую модель, маскирующую его теоретический и стратегический тупик.

## ТЕЗИСЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

*Даниэль Бенсаид написал этот текст для журнала «Viento Sur». «Тезисы сопротивления» – это смелая попытка проследить теоретические вызовы, с которыми столкнулся марксизм сегодня. По мнению автора, теоретическое бесплодие современной социал-демократии и других основных политических направлений могло привести к тому, что марксисты почивали бы на лаврах и просто повторяли бы те ортодоксальности, которые им достались в наследство от прошлого. Но, как утверждает автор, революционная теория теперь должна суметь понять значительные изменения в мире, начиная с крушения сталинизма. Этот разговор затрагивает современный империализм, завершившуюся историю Советского Союза и подобных ему стран, классовую структуру нынешнего капитализма, новые националистические идеологии и идентичности сообществ, социальные движения и политические партии, постмодернистские понятия различия и разнообразия – и многое другое.*

На нас лежит двойная ответственность: передача традиции, которой угрожает конформизм, и изучение неопределенных очертаний будущего.

За последнее десятилетие (начиная с распада Советского Союза и объединения Германии) нечто завершилось. Но что? «Короткий XX век», о котором говорят Эрик Хобсбаум и другие историки, век, начавшийся с Первой мировой войны и закончившийся падением Берлинской стены?

Или краткий период, последовавший после Второй мировой войны, «холодная война», период противостояния двух сверхдержав, для которого было характерно непрерывное накопление капитала в империалистических центрах и «фордистское» регулирование?

Или же большой цикл в истории капитализма и рабочего движения, открытый бурным развитием капиталистической системы в 1880-х гг., последующей колониальной экспансией и мощным развитием современного рабочего движения, символом которого стало создание Второго Интернационала?

Наиболее значительные стратегические исследования рабочего движения были предприняты прежде всего в этот период развития, в эпоху, предшествовавшую Первой мировой: анализ империализма (Гильфердинг, Бауэр, Роза Люксембург, Ленин, Парвус, Троцкий, Бухарин); национального вопроса (снова Роза Люксембург, Ленин, Бауэр, Бер Борохов, Паннекук, Штрассер); отношений между партиями, профсоюзами и парламентской системой (Роза Люксембург, Сорель, Жорес, Ленин); стратегии и пути к власти (Бернштейн, Каутский, Роза Люксембург, Ленин, Троцкий).

Эти дискуссии составляют нашу историю наравне с дискуссиями о конфликтной динамике революции и контрреволюции, которые возникают с началом мировой войны и русской революцией.

Несмотря на многочисленные и глубокие различия между ориентациями и вариантами, рабочее движение того времени демонстрировало относительное единство и общую культуру. Что же осталось от этого наследия сегодня?

В довольно туманной редакционной статье в первом номере переформатированного журнала «New Left Review» Перри Андерсон утверждает, что мир, начиная с эпохи Реформации, впервые столкнулся со столь полным отсутствием альтернативы господствующему порядку. Шарль-Андре Одри выражается более определенно, когда говорит, что одной из характеристик нынешней ситуации является «исчезновение» независимого международного рабочего движения.

Так что мы находимся посреди неопределенного перехода, когда старое умирает, не будучи упраздненным, а новое силится возникнуть, будучи зажатым между не преодоленным прошлым и все более неотложной необходимостью самостоятельного исследовательского проекта, который позволил бы нам сориентироваться в новом открывающемся пред нами мире. Из-за ослабления традиций известного нам по прошлому рабочего движения существует опасность, что в связи с теоретическим бессилием социал-демократии и других оппонентов справа от нас, мы можем смириться с тем, что будем просто отстаивать старые теоретические завоевания, которые сегодня имеют ограниченную ценность. Бесспорно, теория живет за счет дебатов и противостояния: мы всегда до определенной степени зависим от споров с нашими соперниками. Но эта зависимость относительна.

Не составит особого труда отметить, что главные политические силы того, что во Франции мы именуем «плюралистическая левая» – социалистическая партия, коммунистическая партия, зеленые – не очень вдохновляют своими достижениями в области разработки фундаментальных проблем. Но также важно помнить, что, несмотря на свою наивность и подчас юношескую несдержанность, дискуссии крайне левых в 1970-х были намного продуктивнее и богаче, чем сегодня.

Итак, мы начали чреватый многочисленными опасностями переход от одной эпохи к другой и мы находимся в самой гуще этого потока. Мы должны одновременно передавать и отстаивать нашу теоретическую традицию, не оглядываясь на конформистов, одновременно смело анализируя новую ситуацию. Мне бы хотелось, чтобы мы прошли это испытание с духом, который я хотел бы несколько парадоксально назвать «открытым догматизмом». «Догматизм» – потому что, несмотря на дурную славу этого слова (согласно стереотипам масс-медиа, всегда лучше быть открытым, а не закрытым, легким, а не тяжелым, гибким, а не незыблемым), в вопросах теории противостояние модным идеям имеет свои достоинства. Изменчивые настроения и модные веяния стоит подвергать самому серьезному сомнению и для изменения парадигмы следует предоставить самые серьезные аргументы. «Открытый» – потому что нам не следует дотошно сохра-

нять доктринерский курс, напротив, следует обогатить и трансформировать мировоззрение, подвергнув его испытанию новыми реалиями.

Я выдвину пять тезисов сопротивления; им придана отрицательная форма, чтобы подчеркнуть необходимость работы по развенчанию мифов.

***Тезис 1:** Империализм не исчез с развитием процессов товарной глобализации*

***Тезис 2:** Крах сталинизма не означает конца коммунизма*

***Тезис 3:** Классовая борьба не может быть сведена к политике идентичностей сообщества*

***Тезис 4:** Амбивалентная множественность не отменяет конфликтующие различия*

***Тезис 5:** Политика не растворяется в этике или эстетике*

Полагаю, что эти тезисы доказуемы. Пояснительные замечания объясняют некоторые из их следствий.

#### **Тезис 1: ИМПЕРИАЛИЗМ НЕ ИСЧЕЗ С РАЗВИТИЕМ ПРОЦЕССОВ ТОВАРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

Империализм – это политическая форма доминирования, которая соответствует сложному и неравномерному развитию процессов капиталистического накопления. Современный империализм изменил свой внешний вид. Он не исчез. За последние столетия он прошел через три больших периода: а) период колониального завоевания и территориальной оккупации (британская и французская колониальные империи); б) период господства финансового капитала или период «высшей стадии капитализма», проанализированной Гильфердингом и Лениным (слияние промышленного и банковского капитала, экспорт капитала, импорт сырья); в) после Второй мировой войны – период господства над миром, поделенным между несколькими империалистическими государствами, формальная независимость бывших колоний и развитие в условиях внешнего доминирования [1].

Цикл, открытый русской революцией, подошел к завершению. Мы вступили в новую фазу империалистической глобализации, которая напоминает финансовое доминирование, как оно выглядело до 1914 г. Имперская гегемония осуществляется многими способами: с помощью финансово-монетарного доминирования (что позволяет контролировать кредитные механизмы), посредством научно-технического доминирования (квазимонополия на патенты), через контроль над

природными ресурсами (энергетическими запасами, торговыми путями, через патентование живых организмов), насаждением культурной гегемонии (усиливаемой мощью масс-медиа) и, в конечном счете, через поддержание военного превосходства (что четко проявилось на Балканах и в обеих войнах в Персидском заливе) [2].

Внутри этой новой конфигурации глобализованного империализма прямое подчинение территорий вторично по отношению к контролю за рынками. Следствием этого является очень неравное и плохо скоординированное развитие, новые отношения власти (опирающиеся на такие дисциплинарные механизмы, как, например, военные соглашения, зависимость от долгов, поставок энергии, продуктов питания и медикаментов), а также новое международное разделение труда.

Страны, которые еще 20-30 лет назад, казалось, шли по пути экономического развития, сегодня опять катятся по наклонной плоскости экономической отсталости.

Например, Аргентина снова преимущественно экспортер сырья (соя стала ее основным экспортным продуктом). Египет, который во времена доминирования арабского национализма Насера в 1950-х гордился восстановлением своего суверенитета (символом которого стала национализация Суэцкого канала), успехами в преодолении безграмотности (следствием чего стало предоставление услуг инженеров и врачей странам Ближнего Востока) и первыми успехами индустриализации (подобно Алжиру при Бумедьене), сегодня превратился всего-навсего в рай для туристических дельцов. После двух долговых кризисов (1982 и 1994 гг.) и вхождения в НАФТА Мексика является в большей чем когда-либо степени задним двором «Северного колосса».

Метаморфозы отношений зависимости и господства отражаются, в частности, в том, как изменяются геостратегические и технологические особенности войны.

Уже о Второй мировой войне невозможно было говорить как о единой войне с одной линией фронта, но как о нескольких войнах, которые накладывались друг на друга [3]. После окончания Холодной войны природа конфликтов не позволяет рассматривать их стороны просто как «хорошую» и «плохую». Все конфликты последнего времени, с их неповторимыми комбинациями и множеством противоречий, свидетельствуют о невозможности упрощенного подхода к ним.

Во время фолклендской войны противостояние имперской вылазке тэтчеровской Британии вовсе не предполагало, что революционные силы Аргентины должны поддерживать военную диктатуру. В конфликте между Ираном и Ираком революционное поражение в обеих странах было оправдано перед лицом двух форм деспотии. В войне в Персидском заливе международный протест против операции «Буря в пустыне» не имел ничего общего с поддержкой деспотического режима Саддама Хусейна.

Глобализация приводит к изменениям и в структуре конфликтов. Сегодняшняя эпоха – это не эпоха освободительных войн и относительно очевидного противостояния угнетателей и угнетенных. Следствием этого является сплетение интересов и быстрая смена пози-



ций. Поэтому совершенно необходимо провести детальный анализ сложившейся ситуации и извлечь уроки из опыта колебаний, случившихся ошибок и сложностей, которые мы можем увидеть в развитии конфликтов последних лет.

Сведение конфликтов к оппозиции между просто «добром» и просто «злом» лежит в основе дискурса «империализма человеческих прав», который стал оправданием интервенции НАТО в бывшей Югославии.

Следствие 1.1: Гуманитарная этика не отменяет международное право и демократический суверенитет наций

Хотя функции нации-государства, в том виде, в каком они сложились к XIX веку, очевидно изменились и ослабли, эра межгосударственного международного права тем не менее не наступила. Парадоксально, но за последние десять лет в Европе возникли более десятка новых формально суверенных государств и более чем 15 тыс. км новых границ. Отстаивание права на самоопределение для боснийцев, косоваров или чеченцев это, очевидно, отстаивание суверенитета. Именно это противоречие скрывается под уничижительным понятием «суверенизм», которое затемняет различие между внушающим отвращение национализмом и шовинизмом с одной стороны и стремлением к политическому суверенитету, предлагающему сопротивление ничем не ограниченной конкуренции всех против всех - с другой.

Международное право все еще не решило задачу разработки двух типов легитимности: ныне формирующейся легитимности всеобщих прав человека и гражданина (частичным воплощением которой являются институции подобные Международному уголовному суду) и легитимности межгосударственных отношений (чьи принципы восходят к кантовскому учению о «вечном мире»), на которой основываются такие институции, как ООН. Не приписывая ООН тех достоинств, которых она лишена (и не забывая о катастрофическом итоге ее присутствия в Боснии, Сомали или Руанде), необходимо отметить, что одной из целей, которую преследовали союзнические войска в Югославии, было изменение строения нового имперского порядка в угоду новым столпам, а именно НАТО (чья миссия была переопределена во время саммита в честь 50-летия этой организации в Вашингтоне) и Всемирной торговой организации.

Возникнув из отношения сил, сложившегося после Второй мировой войны, ООН бесспорно должна быть реформирована и демократизирована (антипарламентаризм не означает отказа от поддержки демократических реформ таких, как, например, обеспечение пропорционального представительства и феминизация) в пользу Генеральной Ассамблеи и против закрытого клуба Постоянного Совета безопасности. Не для того, чтобы предоставить Генассамблее международную законодательную легитимность, а чтобы заручится гарантией, что - неизбежно несовершенное - представительство «международного сообщества» будет отражать многообразие интересов и взглядов. Также нам настоятельно необходимо развивать анализ европейских политических институций и международных юридических институций

наподобие Гаагского суда, судов на случай чрезвычайных положений и будущего Международного уголовного суда.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 1.1: Обновление понятия империализма, не только с точки зрения отношений (очевидного) экономического господства, но и как глобальной системы господства (технологического, экологического, военного, геостратегического, институционального) представляет необычайную важность, причем именно потому, что с виду не глупые люди считают, будто эта категория устарела вместе с коллапсом бюрократического неприятеля на востоке и что теперь мир структурирован оппозицией между демократиями чистого типа (иными словами – демократиями западного типа) и варварством.

Мери Келдор, которая в начале 1980-х вместе с Э. П. Томпсоном была одним из лидеров кампании за ядерное разоружение против развертывания баллистических ракет «Першинг» и «Крузи» в Европе, теперь говорит, что «характерное для вестфальской эры различие между внутренним миром и внешней войной, задававшее различие между законностью в пределах страны и анархией в международных отношениях, исчерпало себя вместе с Холодной войной». Утверждается, что теперь мы вошли в эру «неуклонного движения к глобальному законодательному режиму». Некоторые, не боясь впасть в противоречия в терминах, называют это «этическим империализмом», сама Мери Келдор – «мягким империализмом».

#### **Тезис 2: КРАХ СТАЛИНИЗМА НЕ ОЗНАЧАЕТ КОНЦА КОММУНИЗМА**

Идеология нелиберальных контрреформ, также как и попытка выдать империализм за честную конкуренцию в рамках товарной глобализации, пытается отождествить коммунизм и сталинизм. С этой точки зрения бюрократическая деспотия является просто логическим развитием революции, а Сталин – законным сыном Ленина и Маркса. Согласно этой понятийной генеалогии, идея приводит к реальности. Историческое развитие и мрачная катастрофа сталинизма уже потенциально скрыты в понятиях «диктатуры пролетариата» или «авангардной партии».

На деле, конечно, социальная теория всегда есть не что иное, как критическая интерпретация эпохи. Если мы хотим понять проблемы и слабости, которые лишают ее силы перед лицом очевидности и истории, эта теория не может рассматриваться по критериям другой эпохи. Таким образом, противоречия демократии, унаследованные от Французской революции, смешение понятий народа, партии и государства, декретированная нераздельность социального и политического, слепота перед лицом бюрократической опасности (недооцененной в качестве главного фактора капиталистической реставра-

ции) стали причинами бюрократической контрреволюции в России 1930-х гг.

В развитии термидорианских процессов в России есть и элементы последовательности и элементы разрыва. Сложность в точном определении времени триумфа бюрократической реакции связана с асимметрией между революцией и контрреволюцией. Контрреволюция – это на самом деле не изнанка события революции и не ее перевернутый образ, как если бы она была чем-то вроде революции наоборот. Как хорошо выразился Жозеф де Местр по поводу Термидора во французской революции, контрреволюция это не революция в противоположном смысле, а противоположность революции. Она зависит от своих собственных временных рамок, в которых разрывы объединяются и дополняют друг друга.

Хотя Троцкий относит начало термидорианской реакции к смерти Ленина, он говорит, что поворот к контрреволюции не был закончен до начала 1930-х, до времени победы нацизма в Германии, московских процессов, больших чисток и чудовищного 1937 года. В своей книге «Истоки тоталитаризма» Ханна Арендт пишет, что завершение формирования бюрократического тоталитаризма можно уверенно датировать 1933–1934 годами. Моше Левин указывает на резкий количественный рост бюрократического аппарата в Советской России с конца 1920-х. В 1930-е гг. репрессии против населения меняют масштабы. Это не простое продолжение того, чему уже было положено начало действиями ЧК (политической полиции) или развитием системы политических тюрем, но качественный скачок, в результате которого государственная бюрократия разрушила и поглотила партию, полагавшую, что способна бюрократию контролировать.

Разрыв, совершенный бюрократической контрреволюцией, существенен исходя из трех точек зрения. Относительно прошлого, постижимости истории – история не является сумбурной басней, рассказанной сумасшедшим, она есть результат социальных явлений, конфликтов интересов (с неопределенным исходом) и решающих событий. Относительно настоящего: последствия сталинистской контрреволюции оказали негативное влияние на целую эпоху и надолго внесли разлад в международное рабочее движение. Много парадоксов и тупиков настоящего времени (начиная с непрерывных кризисов на Балканах) останутся непонятыми без исторического постижения сталинизма.

Наконец, относительно будущего: последствия этой контрреволюции, в которой открылись непредвиденные измерения бюрократической опасности, еще долго будет тяготеть над новыми поколениями. Как писал Эрик Хобсбаум, «невозможно понять историю короткого XX столетия без Русской революции и ее прямых и косвенных последствий».

Следствие 2.1: Социалистическая демократия не может быть сведена к демократическому этатизму

Изображать сталинистскую контрреволюцию как результат исходных пороков «ленинизма» (это понятие было выдвинуто после смерти Ленина Зиновьевым на Пятом конгрессе Коминтерна, чтобы легитимировать государственную ортодоксию) не только исторически ошибочно, но и опасно для будущего. Тогда было бы достаточно понять и исправить ошибки, чтобы избежать «профессиональных опасностей власти» и гарантировать прозрачное общество.

Если отказаться от иллюзии неизбежности, то урок, который можно извлечь из этого ужасного опыта, состоит в том, что общество не свободно от неверного выбора и случайности (необходимость исторична, понятие же «неизбежность» является предельно относительным); если мы отвергнем гипотезу об абсолютной демократической прозрачности, основанной на гомогенности народа (или освобожденного пролетариата), и гипотезу немедленного упразднения государства; если, наконец, мы учтем все последствия «несоответствия временных рамок» (экономические, экологические, правовые альтернативы, обычаи, ментальность, художественные идентичности, различные темпоральности; гендерные и поколенческие противоречия не разрешаются одним и тем же способом и в одном ритме, как классовые противоречия), тогда мы должны заключить, что гипотеза ослабления государства и права, как отдельных сфер, не означает их упразднения по декрету, потому что в противном случае результатом будет огосударствление общества, а не социализация власти.

Следовательно, бюрократия это не досадное следствие ложной идеи, а социальное явление. Конечно, она имела свои особенности, связанные с процессами первоначального накопления в России или Китае, но корни ее – в низком уровне развития и в разделении труда. Это универсальное явление, которое выражается в различных формах и на различных этапах.

Этот жестокий исторический урок должен привести к тщательной работе над извлечением практических выводов, которую Четвертый Интернационал начал в 1979 г. и которая отразилась в документе «Социалистическая демократия и диктатура пролетариата», где особо отмечается важность принципа политического плюрализма, независимости и автономии социальных движений относительно государства и партий, значение правовой культуры и разделения властей. Понятие политического словаря XIX века «диктатура» (пролетариата) восходит к юридическому установлению: к временным чрезвычайным полномочиям, делегированным римскому сенату в качестве противодействия тирании, и только потом стало обозначением деспотической власти [4]. Тем не менее, это понятие изначально было слишком неоднозначным и оно связано со слишком многими горькими историческими уроками, чтобы по-прежнему продолжать использоваться. Тем не менее, этот экскурс дает нам возможность по-новому осмыслить вопрос демократии большинства, отношения между социальным и политическим, условий ослабления господства – вопрос, на который диктатура пролетариата в форме «окончательно открытой» Парижской Коммуны, казалось, уже дала ответ.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 2.1: Убеждение в том, что сталинизм представляет собой бюрократическую контрреволюцию, а не просто более или менее необратимую эволюцию режима, возникшего вследствие Октября, разделяется далеко не всеми. Верно противоположное: либеральные реформаторы и кающиеся сталинисты единодушно рассматривают сталинистскую реакцию как законное продолжение большевистской революции. По сути, именно к такому выводу приходят «реставраторы», принадлежащие к традиции ортодоксального коммунизма, когда упорно продолжают рассуждать о сталинизме главным образом как о «теоретическом отклонении», а не как о чудовищной социальной реакции.

Луи Альтюссер в своем «Ответе Джону Льюису» характеризовал сталинизм как «экономическое отклонение». Многие другие исследователи настаивали на теоретической ошибке или отклонении как основании сталинизма. Это предполагает, что было бы достаточно скорректировать эту ошибку, чтобы избежать опасности бюрократизма [5]. Метод «теоретического отклонения», увековечивая аномалию в качестве результата политического анализа бюрократической контрреволюции, вынужден обратиться к поискам первородного теоретического греха, что ведет не только к периодически повторяющейся ликвидации «ленинизма», но и часто к ликвидации революционного марксизма или наследия Просвещения: от осуждения Ленина мы быстро переходим к осуждению Маркса... или Руссо! Если, как пишет Мартелли, сталинизм – это в первую очередь плод «невежества», достаточно достигнуть большей теоретической ясности – и профессиональные опасности власти будут предотвращены [6]. Все чрезвычайно просто.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 2.2: Французское издание «Эпохи крайностей» Эрика Хобсбаума было благосклонно встречено левыми как работа, выражающая интеллектуальное здравомыслие, как достойный ответ на историографические труды в манере Фюре и историческое судочинство в стиле Стефана Куртуа. Этот заслуженный и теплый прием, тем не менее, рискует оставить в тени крайне проблематичный аспект данной книги.

Хобсбаум, конечно, не отрицает ответственности термидорианских могильщиков: но он преуменьшает ее, как будто то, что случилось, должно было случиться на основании объективных законов истории. Он едва ли видит, как могло бы быть иначе.

И здесь Хобсбаум приходит к представлению о парадоксе этого странного века: «самым продолжительным результатом Октябрьской революции было сохранение своего противника как в период войны, так и в период мира; причем противник этот под влиянием итогов русской революции был вынужден постоянно реформировать себя» [7]. Как будто то было естественное развитие революции, а не результат мощных социальных и политических конфликтов, в череде которых сталинистская контрреволюция была не последней! Эта «объективизация» истории приходит к логическому выводу, что в 1920 г. «большевики совершили ошибку, которая, если оглянуться в

прошлое, кажется фундаментальной: разделение международного рабочего движения» [между коммунизмом и социал-демократией - ред.] [8].

Хотя обстоятельства, в которых «21 условие для присоединения к Коммунистическому Интернационалу» было принято и применялось, требуют критического рассмотрения, тем не менее, разделение рабочего движения следует понимать не как следствие идеологической воли или доктринерской ошибки, а как результат первоначального шока революции и возникновения водораздела между теми, кто встал на ее защиту (путь и критическую защиту, как в случае Розы Люксембург), и теми, кто выступил против нее и оказался связан со священным союзом империалистических государств.

Хотя межвоенный период характеризуется Хобсбаумом как «идеологическая гражданская война на международном уровне», он не пишет об основных классах, капитале и социальной революции, но только о прогрессе и реакции, антифашизме и фашизме. Следовательно, он говорит о перегруппировке «необычайного спектра сил». В этой перспективе чрезвычайно трудно критически анализировать немецкую революцию, китайскую революцию 1926–27 гг., испанскую гражданскую войну, роль и значение народных фронтов в тот период.

Избегая какого-либо социального анализа сталинистской контрреволюции, Хобсбаум удовлетворяется замечанием, что в 1920-х гг., «когда пыль боев улеглась, была восстановлена в прежнем виде царская империя, но уже под властью большевиков». С другой стороны, по его мнению, только в 1956 г., с поражением Венгерской революции, «традиция социальной революции исчерпала себя», а «дезинтеграция связанного с нею международного движения» сделала «мировую революцию окончательно невозможной»... Короче, «то новое, что создал большевизм ленинского типа, и за счет чего он изменил мир, был новый тип организации». Это траурное резюме исключает серьезную критику бюрократии; она рассматривается просто как некий «переходный» феномен, как то, что неизбежно сопровождает плановую экономику, основанную на общественной собственности – как будто эта собственность была действительно общественной, а бюрократия была небольшим досадным довеском к произошедшему, а не контрреволюционной политической опасностью!

Работа Хобсбаума относится скорее к традиции «истории историков», нежели к критическим или стратегическим трудам по истории, способным раскрыть возможные альтернативы в великих поворотных пунктах хода событий.

В книге «Trotsky Vivant» Пьер Навилль специально указывает на границы такого методологического подхода: «Защитники совершившегося факта, кто бы они ни были, имеют гораздо более узкий горизонт, чем политические деятели. Точка зрения активного и боевого марксизма часто не совпадает с тем, как смотрят на вещи историки».

То, что Троцкий называл «прогнозом», замечает Навилль, было для него скорее своего рода пророческим ожиданием, а не предсказанием или предвидением. Те же историки, которые считают смысл

происходящего очевидным, когда революционное движение находится на подъеме, начинают указывать на его недостатки, когда ситуация ухудшается и надо учиться плыть против течения. Им сложно понять политический императив, который говорит, что необходимо уметь «описывать исторические события, когда они развиваются в неверном направлении» (как выразил это однажды Вальтер Беньямин). Навилль замечает, что такое описание истории дает возможность понять смысл произошедшего, выявить и упорядочить факты, упущения и ошибки. Но, как ни печально, эти историки воздерживаются от указания на взвешенный и разумный курс, который может привести к победе революции или, в ином случае, обозначить разумную и эффективную революционную политику в период термидора.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 2.3: Было бы полезно сделать то, чем наше движение до сих пор пренебрегало: провести более глубокое обсуждение понятия тоталитаризма в целом (и его статуса в эпоху современного империализма) и бюрократического тоталитаризма в частности. Троцкий часто использовал этот термин в своей книге «Сталин», но нигде не дал его точного теоретического определения. Данное понятие может быть очень полезным при анализе как некоторых современных тенденций (распыление классов в массах, этнизация и тенденция к «ухудшению» политики), исследованных Ханной Арендт в ее трилогии об истоках тоталитаризма, так и при анализе тех форм этого явления, которые мы наблюдаем в случае бюрократического тоталитаризма. Это также позволило бы воспрепятствовать тому, чтобы вульгарное и слишком гибкое использование этого полезного понятия не служило идеологической легитимацией противопоставления между демократией (без всяких уточнений и конкретизации, следовательно, буржуазной, той, что ныне существует) и тоталитаризмом как главного и единственного конфликта нашего времени.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 2.4: Пристальное внимание к феномену бюрократической контрреволюции никоим образом не предполагает завершение более обстоятельной дискуссии относительно итогов революций за столетие. Наоборот, нам нужно возобновить ее исходя из обновленной перспективы, основанной на новых подходах к методам критики [9].

Различные теоретические модели – теория государственного капитализма (от Маттика до Тони Клиффа), нового господствующего класса (от Рицци до Бернхэма или Касториадиса) или переродившегося рабочего государства (от Троцкого до Мандела), хотя из них и могут извлекаться различные практические выводы, не противоречат – с необходимыми поправками – диагнозу сталинистской контрреволюции.

Когда Катрин Самари сегодня снова говорит о том, что борьба против находящейся у власти номенклатуры требовала новой социальной революции, а не только революции политической, это, тем не менее, не просто вопрос терминологии. Согласно тезису Троцко-

го, развитому далее Манделем, в основе паразитизма бюрократии и ее привилегий было противоречие переходного общества между обобществленной плановой экономикой и буржуазными нормами распределения. Тогда «политическая революция» состояла бы в том, чтобы привести политическую надстройку в соответствие с новым социальным базисом. Антуан Арту отмечает, что сторонники этой точки зрения забывают, что «в посткапиталистических обществах (и не только в посткапиталистических; да и само это название неверно, поскольку позволяет предположить, что они хронологически следуют за капиталистическими, в то время как они на самом деле находятся под определяющим воздействием противоречий всемирного капиталистического накопления) государство является их составной частью в том смысле, что оно играет определяющую роль в структуре отношений производства; по причине такого сдвига в социальной структуре, бюрократия, как одна из социальных групп, кроме того, что характеризуется общими для нее формами оплаты труда, находится в отношении эксплуатации с непосредственными производителями».

В дальнейшем ходе этой дискуссии стоит обратить внимание на теоретическую путаницу, связанную с описанием политических феноменов чисто социологическими терминами, что приводит к утрате специфики данного поля и является пренебрежением политическими категориями. Отсюда проистекает множество недоразумений, связанных с понятием «рабочее государство». Это также касается понятия «рабочая партия», использование которого связано с редукцией политической силы к игре оппозиций и союзов, к глубинной социальной «природе».

### **Тезис 3: КЛАССОВАЯ БОРЬБА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВЕДЕНА К ПОЛИТИКЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ СООБЩЕСТВА**

На протяжении длительного времени так называемый «ортодоксальный» марксизм приписывал пролетариату миссию, согласно которой его сознание со временем совпадет со своей сущностью, вследствие чего он станет спасителем человечества. Последовавшее затем разочарование для многих было равно по силе былым иллюзиям: не став «всем», этот пролетариат был сведен к «ничто».

Здесь следует напомнить, что теория классовой борьбы у Маркса имеет не так уж много общего с университетской социологией. То, что он основывает свою теорию не на статистическом подходе, имело основанием не только прежде всего тот факт, что в его время данная дисциплина находилась в зачаточном состоянии (Первый Международный конгресс по статистике состоялся в 1854 г.), а исходя из более существенной теоретической причины: классовая борьба – это конфликт, неотъемлемый от отношений эксплуатации, существующих между капиталом и трудом, который в свою очередь определяет капиталистическое накопление; это следствие разделения между



производителем и средствами производства. Следовательно, мы не найдем у Маркса какого-либо редуктивистского, нормативного или классификаторского определения классов, но только динамическую концепцию их структурного антагонизма на уровне производства, обращения и воспроизводства капитала. Классы никогда не определяются только на уровне процесса производства (противостояние работников и нанимателей на предприятии), но детерминированы процессом производства в целом, который задается такими факторами, как борьба за повышение заработной платы, разделение труда, отношения с государственным аппаратом, мировой рынок. (Отсюда вытекает, что пролетариат не определяется через такую характеристику, как «производительный характер труда», на которой Маркс специально останавливался во 2-м томе «Капитала», когда писал о процессах обмена. Суть этих проблем была выявлена и широко обсуждалась в 70-х в ясной оппозиции как к теории компартии о «государственно-монополитическом капитализме», так и к концепциям Пулантаса, Бодело и Эстабле [10].)

Маркс говорит о пролетариях в целом. Как правило, в XIX веке использовалось множественное число – «рабочие классы». В немецком «Arbeiterklasse» и английском «working class» до сих пор сохраняется этот обобщающий подход. А вот французское понятие «classe ouvrière», и сегодня присущее французскому политическому языку, обладает узким социологическим значением, которое чревато неточностью: «classe ouvrière» означает промышленный пролетариат современного типа и не распространяется на работников торговли и сферы услуг. А ведь они находятся в точно таких же условиях эксплуатации, если посмотреть на их положение с точки зрения их отношения к собственникам средств производства, положения в системе разделения труда и, тем более, учитывая их статус наемных работников, а также уровень их зарплаток.

Возможно, с теоретической точки зрения, термин «пролетариат» предпочтительнее термина «рабочий класс». В развитых странах пролетариат составляет на самом деле от двух третей до четырех пятых активного населения. Вопрос, на который стоит обратить внимание, это не вопрос об его исчезновении, которое так часто пророчат, а вопрос о его социальных трансформациях и политическом представительстве, принимая во внимание, что промышленный пролетариат, в строгом понимании этого термина, хотя и уменьшился значительно в своей численности за последние 20 лет (с 35 до примерно 26% активного населения), все же далек от исчезновения [11].

Реальное положение дел в вопросе о пролетариате становится яснее, если мы посмотрим на этот вопрос в глобальной перспективе. Тогда становится очевидным то, что Мишель Коен называет «пролетаризацией мира». Если в 1900 году наемными работниками были 50 млн человек – при населении планеты в 1 млрд, то сегодня наемные работники составляют 2 млрд из 6 млрд населения планеты.

Следовательно, данный вопрос является теоретическим, культурным и прежде всего политическим, а не «чисто социологическим».

Понятие класса само по себе есть результат процесса формирования (см. Введение к книге Э.П. Томпсона «Making of the English Working Class»), результат борьбы и организации. В ходе этих процессов происходит понимание теории и самоопределение, рожденное в борьбе: чувство принадлежности к классу является как результатом политического процесса, так и социологического определения. Означает ли ослабление этого классового сознания исчезновение классов и их борьбы? Является ли это ослабление ситуативным (то есть связанным с циклами подъемов и спадов борьбы) или структурным (то есть результатом новых технологий доминирования, которые охватывают уже не только социальные аспекты, но и культурные и идеологические; это то, что Мишель Сюриа называет «абсолютным капитализмом») – и тогда идеологическим выражением этих структурных изменений можно было бы считать дискурс постмодернизма? Другими словами: если повседневная жизнь постоянно приносит свидетельства продолжающейся классовой борьбы, закрывает ли от нас постмодернистская фрагментация и индивидуализм возможность возобновления коллективного проекта? Могут ли снова возникнуть долговременные политические и социальные проекты, несмотря на повсеместное распространение товарного фетишизма и консюмеризма? Или мы обречены на постоянное мелькание событий, не чреватое никаким будущим?

Одна из главных теоретических задач состоит в том, чтобы исследовать не только социологические трансформации класса наемных работников, но и изменения, происходящие в системе оплаты труда с учетом изменений в режиме накопления, а также в перспективе организации труда и его легитимной политической регуляции; следует обратить внимание и на то, что Фредрик Джеймисон называет «культурной логикой позднего капитализма».

Критика ультра-либерализма, вызванная реакцией на контрреформы эпохи Тэтчер и Рейгана, рискует не достигнуть своих целей, если, ослепленная картиной джунглей консюмеризма в эпоху ничем не ограниченной дерегуляции, не обратит внимание на действия по реорганизации и попытки ввести элементы регуляции, предпринимаемые сегодня. Господство капитала, как отмечают Больтански и Шиапелло, не может сегодня ограничиться прямыми формами эксплуатации и подавления; оно нуждается также в легитимизации и оправдании (без опоры на гегемонию невозможно продолжительное время держать людей обманутыми, говорил об этом Грамши).

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 3.1: Сегодня существует настоятельная необходимость заново проанализировать глобальную структуру, территориальную организацию, юридические отношения, связанные с современными производительными силами (новыми технологиями), общие условия накопления капитала и социального воспроизводства. Только сделав это, мы поймем причины кризиса, связанного с трансформациями традиционных политических сил (христианских демократов, британских консерваторов, французских правых), поймем, какую функцию они выполняют в послевоенных национальных государ-

ствах. Кроме того, после такого анализа мы поймем, что вызвало трансформацию социал-демократических партий, элиты которых – посредством приватизации общественного сектора и слияния руководства бизнеса с государственным руководством – все теснее и все органичнее сливаются с правящими слоями буржуазии.

По причине слабости традиционной буржуазии, в ходе процессов демонтажа социального государства временную ответственность за модернизацию капитализма часто приходится возлагать на себя социал-демократическим партиям. В свою очередь, они увлекают на свою орбиту постсталинистские партии, не способные предложить никакого собственного проекта, и большинство «зеленых» партий, которым не хватает теоретических инструментов, чтобы противостоять ускоряющимся контрреформам.

Провозглашение Блэром и Шредером концепции «третьего пути», минимизация социальных гарантий в Европе, обсуждавшаяся на европейском саммите в Лиссабоне, маневры Французской ассоциации работодателей по вопросу о «перестройке социальных отношений» – это не строительство ничем не ограниченного либерального общества, а создание новой системы оплаты труда в условиях невиданного ранее либерального корпоративизма и популизма. Было бы опасно и недальновидно полагать, что единственной формой популизма в будущем по-прежнему будет старомодный суверенизм в духе Паскуа и Вилье во Франции.

Поход в защиту практики приобретения рабочими акций, в защиту частных пенсионных фондов (в ущерб солидарности), «рефеодализация» социальных связей (критически проанализированная Аленом Сюпио) посредством предпочтения индивидуальных контрактов (что зачастую неотличимо от личной зависимости, характерной для жестко иерархизированных обществ) имперсональным отношениям, регулируемым только законом – все это свидетельствует о формировании новых корпоративных связей между трудом и капиталом, при которых небольшое число выигравших празднуют победу над массами жертв глобализации. В определенных условиях, подобная тенденция прекрасно согласуется с конвульсивными формами национал-либерализма в духе путинской России или вождя австрийских правых популистов Йорга Хайдера.

С другой стороны, непродуктивно и в значительной степени неверно рассматривать случай Хайдера по аналогии с фашистскими движениями 30-х. Скорее его феномен связан с современным и, пожалуй, не имевшим аналогов в прошлом типом крайне правой угрозы. Конечно, мы должны поддерживать действия, направленные на борьбу против Хайдера (не солидаризируясь, однако, с теми, кто критикует Хайдера, но благодушно настроен по отношению к Берлускони, Фини, Миллону, Бланку и др.), но не следует забывать, что Хайдер – это продукт тридцати лет сотрудничества между консерваторами и социал-демократами, недостатка демократии в ЕС и убогой политики, позволившей ему оказаться там, где он сейчас находится.

Важно проанализировать специфические формы, в которых выступают реакционные силы в современном мире, роль регионализма в из-

меняющейся конфигурации Европы и союз между национализмом и неолиберализмом. Поэтому Хайдеру нельзя отказать в черном юморе, когда он говорит: «Блэр и я – мы оба против сил консерватизма» [12]. Обе наши партии «хотят избежать негибкости государства всеобщего благосостояния, не создавая при этом социальной несправедливости». Обе желают «закона и порядка». Обе считают, «что рыночная экономика, если придать ей необходимую гибкость, способна создать новые возможности для наемных работников и компаний». Лейбористская партия, как и ГРО, недоматематически подходят к «нашему изменяющемуся миру», в котором «старые понятия левого и правого больше не имеют смысла». «Были ли правы Блэр и лейбористы, принимая Шенгенское соглашение и жесткие законы об иммиграции?», – спрашивает Хайдер. И отвечает: «Если Блэр не экстремист, то Хайдер и подавно».

Следует добавить, что популист регионального масштаба Хайдер еще более благосклонен к НАТО, чем Блэр, и даже больше, чем Блэр, ратует за введение евро!

**ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 3.2:** Недавно опубликованный текст Лукача 1926 года, прежде не издававшийся, в котором он выступает в защиту «Истории и классового сознания», в определенной мере опровергает ультра-гегельянские интерпретации, согласно которым по Лукачу Партия – это окончательная реализация абсолютного духа [13]. Подвергнувшийся на пятом Конгрессе Коминтерна – где первую скрипку среди большевиков играл Зиновьев и его сторонники – нападкам Рудаша и Деборина за «субъективизм», Лукач критикует утверждение Рудаша о том, что пролетариат обречен действовать в соответствии со своим «бытием», а задача партии сводится к «предвидению этого развития». По мнению Лукача, особая (политическая) роль партии проистекает из того факта, что формирование классового сознания постоянно сталкивается с феноменами фетишизации и овеществления. Как отмечает в своем послесловии Славой Жижек, для Лукача партия – это средний термин между историей (общим) и пролетариатом (особенным), в то время как для социал-демократов пролетариат это средний термин между историей и наукой (воплощением которой является партия, просвещающая пролетариат), а сталинисты используют апелляцию к смыслу истории для оправдания своего господства над пролетариатом.

**Тезис 4: АМБИВАЛЕНТНАЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ НЕ ОТМЕНЯЕТ КОНФЛИКТУЮЩИЕ РАЗЛИЧИЯ**

Постмодернизм и другие подобные теории, возражая против «редукционистского» сведения социального конфликта к классовому конфликту, провозглашают множественность пространств и противоречий. В своей специфической и неотменяемой сингулярности, каж-

дый индивидуальный феномен есть неповторимая комбинация множества свойств. В большинстве постмодернистских теорий, как и в некоторых течениях аналитического марксизма, эта критика, направленная против догматизма, приводит к растворению классовых отношений в мутной воде методологического индивидуализма. Как следствие, не только классовые противоречия, но и более общие конфликтные различия выхолащиваются в том, что еще Гегель обозначил как «множественность без различия» – в конstellляции индифферентных друг другу сингулярностей.

Не стоит удивляться тому, что защита различий часто сводится к снисходительной либеральной терпимости, каковая является потребительской изнанкой тотальной коммодификации мира. В противоположность таким процедурам проведения различий и утверждения индивидуализма без индивидуальности, защита идентичности приводит к окостенению и натурализации расовых или гендерных различий. Но на самом деле проблемой является не понятие различия (без него невозможно вычленение структурированных оппозиций), а биологическая натурализация различия и его абсолютизация. Таким образом, в то время как различие опосредует конституирование всеобщего, универсального, полное распыление не способно к такому конституированию. Когда отрицают универсальное, как говорит Ален Бадью, торжествует универсальный ужас.

Эта диалектика частного и всеобщего объясняет те трудности, с которыми мы часто сталкиваемся, например, в дискуссиях (так редко приводящих к взаимопониманию) о равенстве или о роли движений сексуальных меньшинств. Движение геев и лесбиянок призывает к «отмене» гендерных различий и к неисключающим сексуальным практикам, доходя до отрицания возможности каких-либо коллективных утверждений. Жак Бюнкер, отталкиваясь от этой ситуации, в книге «Adieu aux normes» описывает диалектику феноменов, которые являются четко различимыми, но создают отношения, представляющие собой силу, способную противостоять угнетению; он говорит, что эти различия вполне могут быть постепенно сняты в горизонте конкретной универсальности.

Но теоретики движения геев и лесбиянок призывают к немедленному упразднению различий. Их риторика желания, в которой логика социальной необходимости оказывается утеряна, способствует жадному желанию поскорее получить результат. «Квир-субъект», пребывающий в череде идентичностей без истории, это уже не борец за свои права, а постоянно меняющийся индивидуум, не обладающий определенным полом или расой, но являющийся просто разбитым зеркала своих ощущений и желаний. Поэтому совершенно неудивительно, что этот дискурс пользуется таким успехом в культурной индустрии США – «гибкость», отстаиваемая «квир-субъектом», прекрасно укладывается в рамки беспрестанного мелькания новинок и меняющейся моды. Одновременно действия, представляющие собой вызов существующим нормам, и провозглашение необходимости борьбы за новые демократические права банализируются и оказываются подчи-

ненным, не играющим особой роли аспектом субъективности, характерной для потребительского общества.

Одновременно некоторые теоретики противопоставляют социальной категории «гендер» «более конкретную, точную и более телесную» категорию «секс». Они провозглашают отказ от «феминизма гендера» в пользу «сексуального плюрализма». Не удивительно, что такой подход влечет отказ от марксизма и критического феминизма. Категориальный аппарат марксизма дает эффективные инструменты для исследования гендерной проблематики, непосредственно связанной с отношениями классов и общественным разделением труда, – но чтобы объяснить «сексуальную власть» и найти «экономику желания», отличную от экономики необходимости, для этого потребуются новоизобретенная теория (что-то вроде теории биополитики Фуко).

И еще: интерес, который проявляет капитал к рынку товаров для геев и лесбиянок заставляет предполагать ошибочность представления об органической враждебности капитала к непродуктивной социальной ориентации. Представление о непреодолимом антагонизме морального порядка капитализма и гомосексуальности позволяет верить в автоматическое ниспровержение социального порядка посредством простой констатации различия: достаточно быть открытым гомосексуалистом, чтобы являться противником существующего строя. Тогда критика гомофобии и связанного с нею угнетения превращается в призывы к открытому выражению своей сексуальной ориентации и в никуда не ведущую натурализацию своей особенности. Если же, напротив, гетеросексуальность и гомосексуальность – это исторические и социальные категории, описание их конфликтных отношений с «нормой» требует диалектического подхода к различиям и их становлению – таков вывод Жака Бюнкера.

Данная проблематика, очевидно плодотворная, когда мы находимся в сфере гендерных отношений или языковой и культурной коммуникации, влечет за собой определенные последствия, если мы обращаемся к вопросам классовых конфликтов. Ульрих Бек усматривает в современном капитализме парадокс «бесклассового капитализма». Люсьен Сэв говорит, что «хотя на одном полюсе конструкции определенно есть класс, удивительный факт состоит в том, что класса нет на другом полюсе». Пролетариат, по его мнению, ныне не может быть выделен как особая социальная группа; мы должны «вести классовую борьбу не во имя класса, а во имя человечества».

Казалось бы, разве это не хорошо известное в марксизме положение о том, что в условиях капитализма борьба за освобождение пролетариата является конкретным опосредствованием борьбы за освобождение человечества в целом? Но в данном случае мы имеем дело с теоретической новацией, чреватой далеко идущими последствиями, как это вытекает из книги Люсьена Сэва. Вопрос обобществления больше не является, по его мнению, центральным (действительно, если полагать главной проблемой всеобщее отчуждение, то проблема эксплуатации отходит на второй план); социальные трансформации сводятся к «преодолению отчуждения», причем «поступательному и постепенному, без скачков»; вопрос государства заме-

няется вопросом захвата власти (название книги Жюль Мартино); далее: «постепенное завоевание гегемонии рано или поздно приведет нас к власти в условиях поддержки со стороны большинства, что позволит избежать резкой конфронтации» (в Германии и Португалии, в Испании, Чили и Индонезии – так никто и не смог определить момент, когда это «поддержка со стороны большинства» была достигнута!). Практически тоже самое провозглашает Роже Мартелли: «Главным сегодня является не подготовка перехода власти от одной группы к другой, а усилия, направленные на то, чтобы дать каждому человеку возможность контроля над индивидуальными и социальными условиями его жизни». Так совершенно правомерный вопрос индивидуального освобождения сводится к индивидуальным работам и радостям, а проблема социальной эмансипации выхолащивается.

Действительно, существует взаимосвязь между различными формами угнетения и господства; мы не можем говорить о прямом механическом влиянии одной отдельной формы господства (классового господства) на другие. Тем не менее, необходимо как можно тщательнее исследовать интенсивность такого влияния в данных конкретных социальных условиях и в данный период времени. Имеем ли мы дело только с взаимоналожением, пересечением различных пространств и противоречий, каковое пересечение может создать условия для конъюнктурных и неустойчивых коалиций интересов? Тогда единственным основанием объединения мог бы быть только чистой воды этический волюнтаризм. Или же всеобщая логика капитала и товарного фетишизма влияет на все сферы общественного бытия, что создает условия для в той или иной степени единой борьбы (что не означает, однако, сведения, вопреки духу времени, многообразных противоречий к одному доминирующему)?

Спора нет, можно согласиться с усилиями постмодернистских теоретиков по настойчивой критике фетишизированной абстрактной тотальности. Но наша точка зрения состоит в том, что такая детотализация (или деконструкция) неотделима от конкретной тотализации, что нет тотальности априори, тотальность – становится. Становление тотальности происходит посредством артикуляции опыта, но объединение отдельных попыток борьбы сможет опереться только на произвол воли (другими словами, на этический волюнтаризм), если не найдет себе основание в той тенденции к объединению, безличным агентом которой выступает капитал (в своей господствующей сегодня форме товарной глобализации).

#### **Тезис 5: ПОЛИТИКА НЕ РАСТВОРАЕТСЯ В ЭТИКЕ ИЛИ ЭСТЕТИКЕ**

Ханна Арендт опасалась, что политика рано или поздно совершенно исчезнет из мира, не только из-за искоренения множественности тоталитарными режимами, но и благодаря разложению, связанному с коммодификацией мира, которое является темной стороной тоталита-

ризма. Эти опасения подтверждаются наступлением эпохи деполитизации, когда публичное пространство принудительно сужается, что сопровождается экономическими страхами и абстрактным морализмом. Данное ослабление политики и ее атрибутов (проектов, воли, коллективных действий) отражается в жаргоне постмодернизма. Помимо этих конъюнктурных обстоятельств, данная тенденция свидетельствует о кризисе условий политического действия под влиянием изменения конфигурации пространства-времени. Современный культ прогресса означает культ времени, что приводит к снижению ценности пространства, которое начинает играть второстепенную и случайную роль. Как отмечает Фуко, пространство становится эквивалентом смерти, неподвижности, косности – в противоположность богатству и диалектическому изобилию времени жизни. Адский механизм кругооборота капитала и использование им всей планеты для своего воспроизводства, перевернули условия его оценки. Именно эти процессы стали причиной того чувства, которое так обострилось в последние два десятилетия, – ощущения все более быстрого мелькания моментов времени и исчезновения «места» пространства. Если эстетизация политики это неизбежная и периодически повторяющаяся угроза для демократии, то любование локальным, поиск исходных начал, упоение украшательством и маневры вокруг подлинности однозначно свидетельствуют о болезненном головокружении, подтверждающем бессилие политики, оказавшейся в условиях неопределенности.

Политика, если говорить в самом общем смысле, представляет собой нечто вроде искусства пастуха или ткача, а это предполагает пространственно-временные параметры, формой которых является город с его публичным пространством и ритмом выборов/перевыборов. Гражданство это гораздо более широкое понятие, чем город, а гражданин становится недоступен в условиях общего разрушения масштабов и ритмов. Тем не менее, мы по-прежнему живем в мире, где существуют города и где существует политика, коль скоро мы находимся в том периоде космического времени, когда мир движется к уготованной ему судьбе. Так что политика остается профанным искусством протяженности и пространства, искусством намечать и проводить линии возможного в мире без богов.

Следствие 5.1: История не растворилась в распыленном времени без будущего

Постмодернистский отказ от больших повествований заключает в себе не только оправданную критику иллюзий прогресса, связанных с деспотизмом инструментального разума. Он также означает деконструкцию историчности и культ неотложного, временного, мимолетного, означает исключение проектов среднесрочного масштаба. В конфигурации рассогласованных социальных времен политическая темпоральность как раз относится к среднему сроку – между ускользающим мгновением и недостижимой вечностью. Теперь она требует более мобильного мерила своей длительности и своего решения.



Следствие 5.2: Место и положение не растворяются в пугающем молчании бесконечного пространства

Разная степень мобильности капитала (товаров и денег) в различных географических областях и относительная, очень условная мобильность рабочей силы, являются современной формой неравного развития, что делает возможным перемещение прибавочной стоимости в эпоху абсолютного империализма: неравномерное течение времени дополняет и дисквалифицирует развитие пространств. Отсюда вытекает постоянно изменяющийся статус различных территорий, значение контроля над потоками, складывающийся мировой порядок, представляющий собой мозаику слабых, несамостоятельных государств, подчиненных силе коммодификации.

Тем не менее, коллективное действие организуется в пространстве: митинг, собрание, столкновение, демонстрация. Сила коллективного действия проявляется в пространстве и само имя события оказывается связано с датой (Октябрь, 14 июля, 26 июля) и местом (Парижская Коммуна, Турин, Барселона, Гамбург...). Только классовая борьба, как подчеркивает Анри Лефевр, обладает способностью производить пространственные дифференциации, разграничения, несводимые к голой экономической логике.

Следствие 5.3: Экономическая необходимость не отменяет существование стратегических возможностей

Политический смысл момента, возможности, разветвление, открытое надежде – это стратегический смысл; этот смысл состоит в возможном, которое не сводится к необходимости; не произвольное, абстрактное, волюнтаристское возможное, когда «возможно все что угодно». Но такая возможность, которая имеет основания, при которой благоприятный момент является следствием решения, адекватного замыслу той цели, которую необходимо достигнуть. Это то, что в конечном счете улавливается в стечении обстоятельств, это ответ, адекватный конкретной ситуации.

Следствие 5.4: Задача не растворяется в движении, а событие в процессе

Постмодернистский жаргон охотно пестует вкус к событию без истории, к происходящему без связи с прошлым и будущим, к текучести без кризиса, непрерывности без разрыва, движению без цели. В свою очередь постсталинистский сленг отречения, замешанный на представлениях об отсутствии будущего, имеет своим логическим концом нулевую степень стратегии: жизнь без жизни, текущий момент вне связи с другими моментами. Идеологи разочарования в надеждах на будущее поют зауспокойную «прежнему коммунизму»; теперь они понимают коммунизм как «постепенное, поступательное движение, не имеющее конечной точки, исключая моменты столкновений и разрывов» [14]. Они защищают «новое понимание революции» – «революционный процесс без революции, революционную эволюцию» и даже «движение вперед без рывков», к некоей вневремен-

ной непосредственности [15]. Утверждается, что «понятие революции должно быть полностью изменено, поскольку ясно, что не существует некоего момента, в котором эволюция вдруг кристаллизуется, выливается в совершенно новую форму», «ясно, что не существует принципиальных скачков или спадов, нет решающего кануна» [16].

Конечно, не стоит уповать на один-единственный революционный момент, на «чудотворное явление истории», но это не значит, что мы не будем переживать моменты решающих и критических событий. Так что вера в непрерывность без разрывов является логическим двойником представлений о той силе, которая способна положить конец отчуждению человека: «постепенное овладение гегемонией, которая рано или поздно приведет нас к власти в условиях поддержки со стороны большинства» – так говорит об этом Люксен Сэв. Это «рано или поздно», характерное для абстрактной, вневременной политики, представляется по крайней мере сомнительным в свете событий XX века и их уроков (Испания, Чили, Индонезия, Португалия). И прежде всего такая позиция игнорирует порочный круг феетицизма и коммодификации, условия воспроизводства подавления.

Следствие 5.5: Политическая борьба не отменяется логикой социального движения

Между борьбой социальной и борьбой политической нет китайской стены и непроходимых барьеров. Политика возникает и разрабатывается на уровне социального; в сопротивлении угнетению, в утверждении новых прав, превращающем жертв в активных индивидов. Тем не менее, существование государства как особого института – в одно и то же время фальшивое воплощение общего интереса и гарант публичного пространства, несводимого к потребностям частных лиц – структурирует специфическое политическое поле, конкретное отношение сил, язык конфликта, на котором социальный антагонизм артикулируется в игре смещений и ступеней, противостояний и союзов. Следовательно, классовая борьба выражается здесь таким образом, который опосредуется в форме политической борьбы между партиями.

Все является политическим? Без сомнения, но только в определенной степени и до определенной точки – «в конечном счете», если угодно, и крайне неоднозначным образом.

Между партиями и социальными движениями существует не просто отношение разделения труда, эти отношения основаны на диалектике, взаимообмене, взаимодополняемости. Подчинение социальных движений партиям чревато «этатизацией», огосударствлением социального поля.

И наоборот, – политика на службе социального быстро выливается в лоббирование, отстаивание корпоративных выгод, в сумму отдельных интересов, не объединенных общей волей. Диалектика освобождения не есть нечто подобное протяженной спокойной реке: надежды и ожидания масс многообразны и противоречивы, они часто соединяют в себе одновременно и стремление к свободе и требование безо-

пасности. Специфическая функция политики как раз и заключается в том, чтобы выразить и согласовать их.

**ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 5.5:** Анализируя то положение, что сегодня практически исчез подлинный политический выбор, а размывание классового подхода привело в англосаксонских странах к появлению пестрых платформ, представляющих собой разработанный на основе опросов общественного мнения непоследовательный коллаж различных слоганов, стремящихся угодить всем, Зигмунд Бауман пытается найти ответ на вопрос: обладают ли социальные движения потенциалом, способным дать нам возможность выйти из кризиса политики?

Он подробно рассматривает характеристики социальных движений в эпоху постмодерна: ограниченный ресурс, отсутствие долговременных планов; коротко говоря, социальные движения сегодня – это временные объединения отдельных индивидов, сведенных вместе необходимостью решить частную проблему и распадающиеся, как только проблема решена. И дело здесь не в слабости программ или лидеров, отмечает Бауман: подобные непоследовательность и слабость скорее являются следствием характерных для нашего противоречивого времени особенностей, когда присущие ему проблемы и беды не приводят к объединению усилий. Так что социальные движения обладают незначительными возможностями требовать существенных изменений и ставить глобальные вопросы. Они не могут являться полноценной заменой своих предшественников – массовых политических партий. Такая ведущая к бессилию фрагментация является закономерным следствием утраты государствами своего суверенитета, государства сегодня являются чем-то вроде полицейского участка посреди разгула товарно-денежного *laissez faire* [17].

Жижек считает, что такая распыленность новых социальных движений связана с новым типом субъективности, эта субъективность сформирована «отказом», который, в свою очередь, является следствием поражений, произошедших в XX веке. Такое возвращение к государству, сословию, индивидуальному измерению можно считать логическим следствием утраты генерализирующего мировоззрения и снижения классового сознания. Отрицание политики находится в соответствии с произведенным за последние 10 лет в «политических философиях» разделением социального и политического. Однако попытка разделить «политическое» и «находящееся вне политики» и вывести из пределов политики те или иные сферы (начиная с экономики) – эта попытка является «политическим жестом *par excellence*» [18].

По мнению Лаклау, политика освобождения всегда будет «загрязнена» властью, поэтому полная реализация такой политики будет означать полное исчезновение свободы. Кризис левых можно считать следствием провала двух проектов будущего: банкротством как бюрократического коммунизма, так и кейнсианского реформизма. Хотя он указывает, что возможное возрождение требует «реконструкции

нового социального воображения», это утверждение звучит весьма неопределенно, поскольку Лаклау не видит сегодня какой-либо радикальной альтернативы существующему.

Продолжая дискуссию, Жижек настаивает на том, что в условиях соглашения со стороны левых центристов, необходимо «сохранять открытым утопическое пространство глобальной альтернативы, даже если это пространство следует оставить пустым в ожидании содержания, которое его наполнит». Как следствие, левые должны выбирать между отречением и противостоянием шантажу со стороны либералов, по мнению которых любые радикальные изменения снова неизбежно приведут к ужасам тоталитаризма.

Лаклау считает в определенной мере позитивной и перспективу объединения. В радикальной распыленности социальных движений, делающей невозможным четкое выражение ими своих требований, он видит одну из слабостей эпохи постмодерна.

Не имеющие лидеров, сетевые, децентрализованные социальные движения, из-за поражения вынужденные довольствоваться усвоением доминирующего дискурса? Да, но одновременно – перегруппировка социальных движений в различных областях общественной жизни, умножение пространств сопротивления, утверждение их относительной автономии и собственных темпов.

Во всем этом есть свои позитивные моменты, если только процессы выходят за пределы простой фрагментации и если присутствует усилие артикуляции. В противном случае, результатом будет несогласованное лоббирование (показательный пример подчинения как следствия доминирования, см. работы Кувелакиса); или авторитарная унификация по командам господина; или сциентизм, сводящий политическую универсализацию к универсализации научной (этой новой аватаре «научного социализма»); или этический пуризм, сводящий политическую универсализацию к универсальности категорического императива.

Так что в любом случае мы должны стремиться к конкретной универсализации посредством расширения пространства борьбы и соглашения на политическом уровне этой борьбы, ведущейся в разных областях. И здесь нет другого пути, кроме как вернуться к тому феномену, который и конституирует тему универсализации, то есть к капиталу как таковому, а также к феномену господства в его многообразных проявлениях и лежащим в основе этого господства процессам коммодификации и овеществления.

---

[1] См. Alex Callinicos, *“Imperialism Today”*, in *“Marxism and the New Imperialism”*, Bookmarks, London 1994.

[2] См. Gilbert Achcar, *“La Nouvelle guerre froide”*, PUF, collection Actuel Mane, Paris 1999.

[3] См. Ernest Mandel, *“The Meaning of the Second World War”*, Verso, London 1986.

- [4] См. V. Garonne, "Les revolutionnaires du XI-Xe siecle", Free Champ, Paris.
- [5] Lucien Seve, "Commencer par les fins", La Dispute, Paris 1999.
- [6] Roger Martelli, "Le communisme autrement", Syllepse, Paris 1998.
- [7] Eric Hobsbawm, "The Age of Extremes", Penguin, 1994.
- [8] Ibid, p. 103.
- [9] См. Работы: Catherine Samary, Michel Lequenne, Antoine Antous в журнале "Critique communiste", number 157, winter 2000.
- [10] Nicos Poulantzas, "Classes in Contemporary Capitalism", NLB, London 1975; Baudelot and Estabiet, "La Petite bourgeoisie en France", Maspero, Paris 1970. См. также журналы "Critique de l' economie politique", "Critique communiste", "Cahiers de la Taupe".
- [11] Stephane Beaud, Michel Pialoux, "Retour sur la condition ouvriere", Fayard, Paris 1999
- [12] "Daily Telegraph", February 22, 2000.
- [13] Недавно обнаруженный в Венгрии текст Лукача был опубликован на английском под названием «Хвостизм и диалектика» с послесловием Жижека, «Tailism and Dialectic», Verso, London, 2000.
- [14] Pierre Zarka, "Un communisme a usage immediate", Plon, Paris 1999.
- [15] Lucien Seve, "Commencer par les fins", op. cit.
- [16] Rober Martelli, "Le communisme autrement", op.cit.
- [17] "Letter from Zigmunt Bauman to Dennis Smith", in Dennis Smith, "Zigmunt Bauman, Prophet of Post modernity", Polity Press, Cambridge 1999.
- [18] Zizek, op.cit., page 95.

Алистер Суиффен, Питер Холлуард  
**КОРОТКО О БЕНСАИДЕ**

Даниэль Бенсаид родился в Тулузе в 1946 году. Он преподает философию в Университете Париж-8 (Сен-Дени) и является редактором журнала *ContreTemps*. Он также был среди лидеров одной из двух крупнейших французских троцкистских групп, Революционной Коммунистической лиги, в создании которой участвовал вскоре после событий мая 1968.\* Также долгое время был причастен к латиноамериканской политике, в первую очередь, в Бразилии.

Основные темы Бенсаида – теория и практика активистской политики, низовые революционные традиции, подрывной потенциал мессинских концепций истории, современное значение Маркса и марксизма, а также организация современного антикапиталистического движения. Во многих работах Бенсаид ищет возможность эффективной борьбы с происходящим подчинением общества законам рынка. Стремясь избежать крайностей как волюнтаризма, так и пассивности, он разрабатывает концепцию политики, в которой связаны необходимость и случайность, событие и историчность, анализ и ангажированность. Его основная на сегодняшний день работа – «Маркс для наших времён» (1995) – в которой неортодоксальным образом возрождаются и применяются аналитические ресурсы марксовской критики политэкономии в контексте большого теоретического вызова происходящей «приватизации мира».

Настойчивее, чем большинство западных марксистов, Бенсаид разрабатывает свою фундаментальную трактовку знаменитого 11 тезиса о Фейербахе: недостаточно «лишь объяснить мир, дело заключается в том, чтобы изменить его». Работа Бенсаида на самых разных уровнях связана с поиском практических альтернатив непререкаемой власти капитала и товарному фетишизму. Коллапс сталинизма и распад Советского Союза сделали этот поиск более перспективным (отпала необходимость вести войну на два фронта) и более отчаянным (в эпоху доминирования разнообразных версий конца истории, а то и конца политики). В своем памфлете «Непримиримые» [*Les Irréductibles*] Бенсаид дает краткий обзор принципов, которыми можно руководствоваться в этом поиске.\*\*

В контексте достижений и неудач новых социальных движений 1980-х и 1990-х, мобилизации групп людей с приставкой «без» (без документов, бездомных, безработных и т.п.) все большей интернационализации как капитализма, так и его оппозиции, Бенсаид различает пять общих теорем, под знаком которых возможно успешное сопротивление статус-кво.

---

\*В феврале 2009 г. РКЛ стала основой для создания Новой антикапиталистической партии. (здесь и далее – прим. ред.)

\*\*Вариант 5-ти принципов см. в тексте «Тезисы сопротивления».

Тезис 1: Классовая борьба несводима к коммунитарным концепциям идентичности и принадлежности.

Тезис 2: Политика несводима к этике или эстетике.

Тезис 3: Империализм не исчез с развитием якобы безболезненных процессов товарной глобализации.

Тезис 4: Судьба коммунизма независима от сталинистского наследия и бюрократической инертности бывших социалистических стран.

Тезис 5: Будущее рациональной критики независимо от псевдо-резистантной стерильности постмодернизма и не связано с преобладающим акцентом на утешительном разнообразии, эфемерной фрагментации и непоследовательном разочаровании.

Неудивительно, что Бенсаид с самого начала сопротивлялся неолиберальному повороту во французской философии и в политике. Его первые публикации были посвящены маю 1968-го, французскому студенческому движению и португальской революции 1975, его книга *Mai si!* (1988, в соавторстве с Аленом Кривином), посвященная долгой дискуссии с «новыми философами» – «раскаявшимися» героями шестидесят восьмого, призывает к обновлению революционной борьбы в духе того времени.

Бенсаид раскрыл концептуальную несостоятельность политики «третьего пути» за десятилетия до того, как был изобретен сам термин, и с самого начала противостоял смещению к «левому центру», которое было инициировано Миттераном и Рокаром и триумфально довершено Жоспеном.

Хотя многие философы в последние десятилетия обращались к Марксу как к критику капитализма («Призраки Маркса» Деррида), Бенсаид – один из тех, кто настаивает на восприятии Маркса как пророка коммунизма. Книга «Маркс для наших времен» (1995) стала кульминацией долгой работы по освобождению марксизма от катастрофической для него связи со сталинизмом с одной стороны и позитивизмом или сциентизмом с другой. Ретроспективно освященный активистскими принципами Грамши и Веньямина, Маркс Бенсаида это в первую очередь революционный мыслитель, философ активного политического вмешательства. Как и Веньямин, он занят прежде всего осмыслением освободительного потенциала, который внезапно проявляется в моменты кризиса и чрезвычайного положения. Критический проект Бенсаида, таким образом, направлен против того, что грозит ослаблением или укрощением этого потенциала. В частности, он старается уберечь марксизм как от редукции к одной из форм науки (эмпирической социологии или математизированной экономики), так и от его включения в линейную или телеологическую версию истории, двигающейся в грубо механистической прогрессии к неизбежному триумфу социализма. Бенсаид разделяет сам по себе эклектиче-

ский материал своей книги на три части, представляющие принципиальные аспекты этого фундаментального критического жеста. В первой части, которая называется «Критика исторического разума», утверждается подрывная концепция времени, противостоящая детерминистским – ортодоксальным или аналитическим версиям марксизма: история, перемежаемая событиями, уже не обладает смысловым единством универсальной Истории, ведомой союзом порядка и прогресса. Из её изломов вырывается водоворот циклов и спиралей, революций и реставраций, [...] мир взрывов, катаклизмов и кризисов, противоречия которого разрешаются в насилии решительности».

Маркс трактуется здесь как философ прерывистого и нелинейного времени, темпоральности, в которой та или иная эпоха никогда не идет в ногу сама с собой, в которой «древние времена, давно прошедшие времена и недавние времена все ещё работают анахронистично в измерениях настоящего». Во второй части под названием «Критика социологического разума» отстаивается политическое и субъективное (или «антисоциологическое») первенство классовой борьбы в противовес сведению её к «инертной сфере чистой объективности». Третья и последняя часть, «Критика научного позитивизма», это одновременно резкая критика одного из пониманий науки (позитивистского, отстраненного, точного, безжизненного и т.п.) и хвала другому (философическому, хаотическому, гетерогенному, дезорганизованному и т.п.): «в скрупулезном поиске живого организма, где понятийный порядок постоянно подрывается плотским беспорядком, марксова наука постоянно смешивает синхронию и диахронию, универсальность структуры и сингулярность истории».

Эта подрывная концепция марксизма восходит к отрицанию Бенсаидом, ещё в студенческие времена, альтюссеровского структуралистского прочтения Маркса. Неудовлетворенный неспособностью Альтюссера совладать с непредсказуемыми событиями и вмешательствами, Бенсаид обращается за вдохновением к раздумьям Люсьена Гольдмана о Паскале. Бдительный, но непоколебимый исторический оптимизм Бенсаида может быть отнесен, с одной стороны, за счёт его собственной версии логики, которая оправдывает известное паскалевское пари – ставку на существование Бога: именно потому что итог несводим к логике дедукции и доказательства, терять нечего, а получить можно всё, вложив свою веру в непредсказуемое будущее коммунистической революции. Кроме того, такая вера в будущее наилучшим образом утверждается представлением о настоящем, в котором живёт революционное прошлое.

В работе «Вальтер Беньямин, часовой-мессия» (1990) Бенсаид следует Беньямину (а также Шарлю Пеги) в своём остром осознании жизненной важности прежних битв. Именно с этим осознанием связана его хвала наследию Жанны Д'Арк и его «альтернативное празднование двухсотлетия» Французской Революции, той, что живет в идее санкюлотов о радикально-демократической практике политики. В каждом случае попытка изменить мир исходит из разумного пари или «логичного восстания», секулярного пари, свободного от любых следов трансценденции.



Интерес Бенсаида к Пегги и Веньямину, подкрепленный его восхищением Франсуазой Пруст, самым значительным из современных французских читателей Веньямина, привел его к размышлению о различии между утопической и мессианской мыслью. Утопия в большей степени подчинена своему результату, имеет более определенное содержание, а, следовательно, более подвержена разочарованию, чем мессианизм, уверенный в открытой неопределенности истории и полагающийся на хрупкую стойкость надежды. В «Сопровитвлениях» (2001) Бенсаид пытается обновить революционный потенциал мессианизма в критическом противостоянии двоякой опасности: утопическому эскапизму с одной стороны и циническому детерминизму с другой. Наиболее существенным на сегодняшний день исследованием Бенсаида по современной философии является текст «Крот и локомотив» (английский перевод предисловия к «Сопровитвлениям»). В остальном «Сопровитвления» состоят из критических обзоров четырех, по мнению Бенсаида, наиболее важных (и наиболее неоднозначных) современных попыток внести новую струю в развитие секулярного мессианизма – работ Альтюссера, Деррида, Бадью и Негри. Здесь было бы не лишним коротко пересказать основные выводы Бенсаида.

Бенсаид признает, что было бы упрощением изображать Альтюссера структуралистом, не оставляющим в историческом развитии места для индивидуальной активности. Бенсаид осуждает нежелание Альтюссера безоговорочно дистанцироваться от Сталина и критически относиться к его чрезмерному подчеркиванию автономии науки, отказу от вопросов опыта и борьбы, а также чем дальше, тем всё более отчаянного стремления определить в работах Маркса место окончательного эпистемологического разрыва между научной установкой и чисто идеологическим интересом к отчуждению. Тем не менее, Бенсаид горячо поддерживает поздние попытки Альтюссера примирить понятие истории как «процесса без субъекта» со случайностью столкновений и ситуаций таким образом, что индивидуальная вовлеченность в определенные политические ситуации становится причиной исторических изменений (а не наоборот). Результат – хоть и неудачная, но провокативная попытка Альтюссера заново осмыслить отношения случая и необходимости в рамках марксистской концепции истории.

Бенсаид также находит много ценного в тревожном и смутном оптимизме, вдохновляющем «Призраков Маркса» (1993) Деррида. В большой степени следуя идеям того же Веньямина, Деррида отличает мессианский опыт от (абстрактного, покорного, почтительно-го)утопизма, и ассоциирует первый с конкретной, оптимистичной и непосредственной попыткой подорвать status quo во имя справедливости. Хоть и не революционные, в бенсаидовском смысле слова, «призраки» Деррида преследуют господствующий порядок вещей, благодаря им дух коммунизма может инспирировать шаги к грядущей революции. Неприязнь Деррида к настоящему и присутствию, его нежелание принять то, что он описывает как марксову версию «онто-тео-логии», его неприятие организованного коммунизма и вера в то, что классовый конфликт по существу является проблемой про-

шлого – всё это сводит революционный проект к своего рода постоянной неопределенности и неуверенности.

Обратная проблема, в известном смысле, подрывает пост-маоистское возрождение категории субъекта у Бадью. По понятным причинам, Бенсаид симпатизирует ангажированной, активистской концепции политики у Бадью, но считает, что в ней не уделено достаточного внимания вопросам исторической преемственности и политической организации. Бадью слишком зависим от своего скачкообразного, если не сказать «чудесного» понимания преобразующих событий как первичного источника политического и философского вдохновения. А его концепция субъекта предполагает не намного больше, чем повторение паскалевского пари. Его концепция политики, сохраняющая принципиальную дистанцию по отношению к истории и государству, утверждение «политики без партий»\* – все это угрожает лишить организованную политику ее материальной силы.

Если Бадью слишком зависим от чрезвычайного разрыва событий, то Негри в прочтении Бенсаида слишком привязан к исторической неизбежности, к якобы неотвратимому движению истории по направлению к триумфу коммунизма. Но Бенсаид имеет и много общего с Негри, не в последнюю очередь с его осторожной попыткой, в работах семидесятых и позднее в «Восстаниях», разработать теорию политической субъективности, которая связывала бы неоленинистский упор на организацию и решение с анализом изменяющихся материальных условий эксплуатации, классовой композиции и извлечения прибавочной стоимости, основанной на *Grundrisse* Маркса.

Грубо говоря, то, что Негри называет «конституирующей властью» – созидательным могуществом (*puissance or potentia*), властью создавать новые ситуации, отличной от власти (*pouvoir or potestas*) как действительно осуществляемой внутри уже установленной ситуации, – обретает современную политическую форму в виде растущей коллективной способности скорее творить историю, нежели просто терпеть ее. В «Империи» (2000) Негри и его соавтор Майкл Хардт исследуют, каким образом современная форма конституированной или «суверенной» власти постепенно избавляется от ограниченный национального государства и становится действительно глобальной, действительно детерриторизованной силой, которая в конечном счете сама является (репрессивной) реакцией на столь же мобильный, столь же транснациональный вариант народной конституирующей власти – власти «множества». В форме империи капитализм движется к постепенному очищению себя самого от всех анахроничных форм опосредования и трансценденции, подготавливая тем самым путь к прямой борьбе с коммунизмом. Впрочем, Бенсаида смущает абсолютизирование конституированной власти в определенных аспектах, а также, как ему представляется, относительная незаин-

---

\*во франц. оригинале: *partie* – часть, частица, не путать с фр. *parti* – политическая партия

тересованность Негри в стратегических, институциональных и организационных факторах, способных сделать новое глобальное восстание реальностью.

Полагая, что конституирующая власть сама является динамическим принципом, обуславливающим исторические изменения, что ее сопротивление угнетению есть нечто само собой разумеющееся и она осознает себя как непрерывную «перманентную революцию», Негри временами, кажется, видит победу коммунизма как нечто едва ли не автоматическое или заложенное в самой природе вещей. В конечном счете, заключает Бенсаид, квази-«францисканская» ориентация Негри не способна инспирировать жизнеспособный вариант истинной демократии и захват власти низами.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |            |
|---|------------|
| <b>Крот и локомотив.</b> Перевод К. Медведева. ....   | <b>3</b>   |
| <b>В защиту коммунизма.</b> Перевод Л. Михайловой. ....   | <b>14</b>  |
| <b>Большевизм и сталинизм. Судьба революции в 20 веке.</b> Перевод<br>А. Репы. ....                               | <b>36</b>  |
| <b>«Скачки! Скачки! Скачки!»: Ленин и политика.</b> Перевод Дм. Ко-<br>лесника под ред. А. Репы. ....             | <b>48</b>  |
| <b>О книге Джона Холлоуэя «Изменить мир без взятия власти».</b> Пере-<br>вод Дм. Колесника под ред. А. Репы. .... | <b>61</b>  |
| <b>Тезисы сопротивления.</b> Перевод А.Репы под ред. Вл. Софронова.<br>.....                                      | <b>77</b>  |
| Алистер Суиффен, Питер Холлуард. <b>Коротко о Бенсаиде.</b> Перевод<br>К.Медведева, Дм. Потёмкина. ....           | <b>102</b> |